

СТЮАРТ ДЖЕКМАН

ДЕЛО
ДАВИДСОНА



СВЕТ НА
ВОСТОКЕ
Київ
2006

УДК 2-29
ББК 86.34
Д 31

Джекман С.

Д 31 Дело Давидсона. — К.: Свет на Востоке, 2006. —
208 с.

© «Свет на Востоке», 2006
Изд. № 01.460
ISBN 3-935435-39-8 (Герм.)
ISBN 966-7320-00-X (Укр.)

Название оригинала:
Stuart Jackman. The Davidson Affair
Text copyright © 1998 Stuart Jackman
Lion Publishing, Sandy Lane West, Oxford, England
First published in 1966 by Faber and Faber Ltd
24 Russell Square, London WC1
All rights reserved.

Если Моисея и пророков не слушают,
то, если бы кто и из мертвых воскрес,
не поверят.

Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 31

1

Фрагмент спецрепортажа. Понедельник, 16 апреля, 21:15. Римская студия Имперского телевидения.

За кадром: «Приглушите музыку».

В кадре Андреу Патрос: «Очередное волнение на Ближнем Востоке. Со вчерашнего утра не перестают поступать сообщения о новой кризисной ситуации в Иерусалиме. Были зафиксированы некоторые инциденты, что вынудило генерал-губернатора ввести комендантский час с наступлением сумерек и до рассвета. Для полного освещения событий в этом регионе, которые быстро становятся главными в империи, мы приглашаем вас в студию на прямую связь с нашим специальным корреспондентом Кассом Теннелом в Иерусалиме. Вам слово, Касс!»

За кадром: «Прибавьте звук».

В кадре Касс Теннел.

2

Иерусалимская студия занимает добрый участок земли напротив Яффских ворот. Из окна офиса Каппера, расположенного на пятом этаже, хорошо просматривается массивное сооружение Храма и выступающий за ним, чуть вдали, зеленый отрог Елеонской горы. Это поистине величественное зрелище часто используется в качестве заставки между

программами на первом, иерусалимском, канале нашей телекомпании.

Оно же послужило и художественным оформлением для моего репортажа в этот вечер в понедельник. Операторы спроецировали задний план панорамы на экран, а перед ним поставили кресло и рабочий стол для меня. На столе разместили телефон и небольшую вазу с анемонами из Галилеи. Сам телефон был, конечно, хитроумной уловкой Каппера — лично им изобретенное клише. Таковое у него всегда имелось под рукой. Он даже разработал теорию, будто телефон дает зрителям ощущение тесного контакта и привносит в программу элемент некоего предвкушения. Цветы же были моим личным вкладом в передачу. То обстоятельство, что их привезли из мест, где Давидсон* провел свое детство, вызывало во мне романтическое чувство.

Я сидел в иерусалимской студии, Дрю Патрос вещал из Рима, и я видел его на экране телевизора. Патрос был главой отдела новостей и, в общем-то, если когда и появлялся перед телекамерами, то повод для этого должен был быть не меньше, чем, скажем, смерть какого-нибудь монарха. Коренастый и смуглый, с большой круглой головой и коротко стриженным «ежиком», он распластался в центре экрана, как паук, в сети которого только что попала невероятно жирная муха. Трансляция в этот вечер была прекрасной, и голос доносился через километры неразбавленным и сочным — казалось, Патрос не говорит, а с аппетитом пережевывает хрящики произносимых слов. Допускаю, что вы назвали бы его голос твердым и мужественным, особенно если, как и все телезрите-

* Давидсон (англ. Davidson) — буквально: «сын Давида».

ли, слышали его при обстоятельствах огромной важности. Но для тех из нас, кто был вынужден работать с Патросом, его голос являлся источником раздражения, таким же нервирующим и зловещим, как пожарная сирена. В наших умах он ассоциировался с организованным хаосом, из которого, собственно, и возникло документальное телевидение: бесконечные разъезды, бесчисленные встречи с людьми в Богом забытых местах, несъедобная пища в дешевых забегаловках, бешеная гонка за «горячим» материалом, сбор его в невозможно короткие сроки, чтобы, пока он не остыл, подать голодной публике, предварительно, разумеется, мастерски «приправив». Патрос был похож на жука и повадки имел соответствующие: проникал всюду, без всякого на то права вторгался в наши кратковременные передышки, чтобы снова швырнуть нас в объятия назревшего где-нибудь кризиса.

Когда я, мирно спавший в гостиничном номере и разбуженный телефонным звонком в полседьмого утра в воскресенье, нащупал, наконец, аппарат и услышал в трубке голос Патроса, я сразу понял: надо быть готовым к очередной нервотрепке.

А я совершенно не был расположен к ней.

Мы с Грегом Декка в течение двух недель мотались по пустыне, готовя сенсационный материал о весеннем празднике бедуинов. Это было одно из тех псевдокультурных мероприятий, которые Топлоу постоянно придумывал с той самой поры, как вступил в должность руководителя программ. Топлоу, этнический грек, суетливый маленький мужчина с головой, доверху набитой мозгами, и с налетом пуританства, столь же, впрочем, худосочного, как и его плечи, непостижимым образом спикировал в руководящее

кресло на телевидении прямо из-за ректорской кафедры Афинского университета. Он был непоколебимо убежден, что задача телевидения — поучать публику, а не развлекать ее.

Похоже, именно поэтому он и попал к нам. Мы годами пичкали зрителя сценами секса и насилия и, должно быть, приблизились к той черте, за которой наступает полная пресыщенность. Но, странное дело, даже то, что Топлоу тщательно планировал как «культуру в массы», в конечном итоге превращалось в традиционную белиберду: как будто все, что входило в объектив камеры, подвергалось обработке где-то среди всех этих проводов и электронных ламп и выплескивалось на экран отвратительными помоями. Как тот же самый бедуйский праздник. Топлоу преследовал благородную цель показать этап очередного духовного подъема в контексте его духовной и социально-политической значимости. Но все, что мы смогли наскрести для фильма, так это несколько тысяч пар людских ног, доставляющих себе удовольствие неким специфическим раскованным танцем; один, бесспорно первобытный, эпизод, показывающий богатые фантазией религиозные ритуалы, и довольно похотливый взгляд, брошенный нами, как бы невзначай, на сельский невольничий рынок. В сущности, все возвращается на круги своя: обнаженка и кровь, с примесью арабской нищеты на фоне отдаленных финиковых пальм.

Через две недели после этого мы с облегчением вернулись в Гелиополис, крепко пропахшие козами, и смогли, наконец-то, выспаться в приличной постели. Но прежде чем добраться до своих кроватей в гостинице, мы совершили круг по ночным клубам (дол-

жен заметить, то же, что и в пустыне, только рангом повыше и девушки почище), блаженные от сознания, что можем проспять большую часть воскресенья перед отлетом в Рим в понедельник утром. У Патроса, однако, в отношении нас были другие планы.

— Одевайся, Касс, — сказал он по телефону. — Я посылаю вас в Иерусалим.

— Премного благодарен. И когда же?

— Немедленно. Мы организовали для вас чартерный рейс с Транс-Медиа. Вылет из Алмазы ровно через пятьдесят три минуты.

На другой кровати Грег приоткрыл один глаз и тупо уставился им на меня. Я прикрыл трубку рукой: — Патрос. Мы летим в Иерусалим.

— Хочешь сказать, сегодня?

Я кивнул.

— Бог мой, — пробормотал Грег и закрыл глаз.

Патрос продолжал бубнить мне в ухо: «Я понимаю, это немного неожиданно, Касс...»

— Да, есть немного, — любезно согласился я. — А как ты догадался?

— Извини, но это — динамит. Ситуация колоссальной взрывной силы и может рвануть в любую минуту.

— Ну-у я мог бы переждать.

— Слушай сюда, Касс, — зашипел Патрос. — Если...

— Ладно, Дрю. Что там стряслось?

— Давидсон! — брякнул он. И тон, которым он проскрипел это слово, прозвучал как чиркнувшая о коробок спичка. Спичка для поджога фитиля.

— Как?

— Иисус Давидсон, ради всего святого!

— И что с ним?

— Его повесили. В пятницу пополудни.

— Уже? И что ты хочешь, чтобы я сделал? Возложил венок?

— Если верить тому, что только что передали по телетайпу, он не нуждается в венках. Скорее, он не отказался бы от плотного обеда.

Я нахмурился и переместил трубку к другому уху.

— Похоже, какая-то ерунда на линии, Дрю. Мне сначала послышалось, ты сказал, что он мертв?

— Мертв и похоронен.

— В прошедшую пятницу?

— Точно.

— А теперь вдруг проголодался?!

— Понимай, как хочешь, Касс. Сам вижу, что тут мало здравого смысла. Но это исходит от самого Каппера, а он никого дурачить не станет.

Тут я с ним согласился. Мы с Ником Каппером старые друзья. До того как обосновались на телевидении, вместе работали диск-жокеями на радио. За последние несколько лет Ник стяжал славу выдающегося продюсера. Легкий и взрывной, с беспокойными глазами и отчаянной жестикуляцией — вокруг него всегда возникала какая-то волнующая обстановка, — он создавал впечатление регулятора настройки, но вмонтированного не в телевизор, а прямо в студию, в маленькую, звуконепроницаемую продюсерскую кабинку. Соперники, завидуя, довольно едко высмеивали его, утверждая, что он обручился со своей работой. Но даже они не могли не признать, что «брак» был удачным во всех отношениях. И если Ник послал такое сообщение Патросу, значит, есть смысл в телевизионном расследовании, пусть даже само это сообщение в голове не укладывается.

— Что он определенно говорит, Дрю?

— Цитирую: «Сообщаю, что Иисуса Давидсона, казненного за государственную измену в пятницу, видели в городе сегодня рано утром, после землетрясения, случившегося в 4:00. Несколько служащих иудейской армии находятся под арестом: подробности содержатся в строгой секретности до полного выяснения обстоятельств. Предлагаю немедленное расследование». Конец цитаты.

Я на минуту задумался. Было ясно, что Каппер воспринимает это очень серьезно.

— Ты все еще здесь, Касс?

— Да, — сказал я. — Дрю, а кто был — или есть — Иисус Давидсон?

Патрос захихикал.

— Вопрос, конечно, интересный, Касс. Но тебе придется поехать в Иерусалим, чтобы найти на него ответ. Все, что мы знаем о Давидсоне, так это что он был обычным сельским ремесленником, не то столяром, не то плотником, не то еще кем-то в этом роде, позволившим втянуть себя в высокую политику.

— О, один из тех!

— Точно. А при нынешнем раскладе на Ближнем Востоке это может превратиться в снежный ком за двадцать четыре часа.

— Много у него последователей?

— Н-не знаю. Твое дело — выяснить это. Кстати, он называл себя Мессией.

— А что это должно означать?

— Извини, Касс. Нет времени вдаваться в подробности. Я хочу, чтобы ты оказался на месте событий как можно скорее. Вот он, сюжет, перед тобой, и мы должны сделать из него сенсацию, даже если тебя убьют.

— Благословен будь, Дрю, — сказал я. — Я тебя тоже люблю.

— Я зарезервирую для тебя пятьдесят минут прямого эфира на завтрашний вечер. Сразу же за последними известиями.

— Ты, должно быть, шутишь! Для такого материала, как этот, мне понадобится, по меньшей мере...

— Все, что тебе будет нужно, спрашивай у Каппера. Он проработал это уже вдоль и поперек. Сделай так, чтобы я увидел тебя на экране в 9:50 завтра вечером. Ладушки?

— Одну минуту, Дрю! Я...

— Ты уж постарайся, старик! — сказал Патрос и отключился.

Миниатюрный Патрос проговорил с экрана телевизора: «Прошу вас, Теннел». Я услышал то нарастающую, то затихающую прерывистую музыку, увидел отмашку ассистента режиссера и повернулся лицом к камере номер один:

«Иерусалим сегодня, — сказал я, — это город слухов и волнений. И хотя гостиницы и приюты все так же переполнены паломниками, прибывшими на иудейский религиозный праздник, зловещая тишина нависла над пустынными улицами, тишина, нарушаемая только сиренами полицейских машин и грохочущими бронетранспортерами армейских патрулей».

Меня дали по центру экрана крупным планом: я слегка склонился над столом, а у меня за спиной — огромная панорама города. Мы тщательно спланировали этот вступительный кадр, потому что именно

здесь должен быть заложен весь настрой программы. Первоначально же мы склонялись к более эффектно-му началу: «Может ли человек восстать из могилы? Сегодня этот вопрос здесь буквально у всех на устах...» Но когда время первоначального безумия прошло, и сценарий стал приобретать определенные формы, меня все более не удовлетворял этот подход. Для него требовался такой кульминационный момент, после которого единственно возможным оставался бы только отрицательный ответ на вопрос. Я же, чем больше узнавал о Давидсоне, тем меньше склонялся к тому, чтобы предстать перед камерой с таким ответом.

История, которую мы раскручивали, политической была только на поверхности. Подспудно же она была сугубо религиозной. И к полудню воскресенья, когда мне это стало абсолютно ясно, у меня сработала интуиция и подсказала, что мне следует как можно скорее отказаться от своего занятия. Я на собственном опыте убедился, что религия не очень-то хороший материал для телевидения. Это чрезвычайно сложная штукавина, и отнимает она уйму времени. Поданная в виде короткой десятиминутной зарисовки и подогнанная под какую-нибудь рубрику, как, например, «Вера сегодня», она превращается в жиденькую и водянистую кашку-размазню, которую просто стыдно предлагать голодному человеку. Втиснутая в рамки какой-нибудь дискуссии или же в репортаж о текущих событиях, она вызывает откровенное разочарование и неудовлетворенность телезрителей. А мы никак не заинтересованы в подобном эффекте. К тому же эта тема имеет тенденцию вовлекать корпорацию в утомительную перебранку с телезрителями, чье догматическое усердие и нетерпимость могут срав-

ниться разве что с их абсолютной неспособностью к милосердию. И Патрос вряд ли бы погладил меня по головке, сосредоточься я на эссе о теологических проблемах иудаизма, пусть даже старательно мною приукрашенных.

Но очень скоро мы начали осознавать, что то, над чем мы работаем, было религиозным в самом исконном смысле этого слова: вопрос жизни и смерти не является исключительной прерогативой иудеев, но затрагивает каждого человека. Это не словесная дуэль между священниками и не история обрядов и ритуалов, не рассуждения о церковных правилах и не дискуссия о правовом аспекте преследования известных сектантских вероисповеданий. То, с чем мы столкнулись, касалось главного вопроса, лежащего в основе человеческого существования — смысла и сущности жизни. Полагаю, вскоре мы должны убедиться в этом. В конце концов, это только что ярко проявилось самым очевидным образом! Да, человека лишили жизни в самом расцвете лет, а теперь, как утверждают, он восстал из мертвых. Здесь, со всей очевидностью, воплощается в жизнь извечная мечта человечества о бессмертии — мифологический порыв, вырвавшись из глубин истории, претворился в действительность...

И если все подтвердится, это и будет, по словам Патроса, «динамит».

Каппер тоже согласился с этим: «Только ты ничего не должен утверждать, Касс. Держись в русле спокойного, даже где-то небрежного повествования. Если не сделаешь этого, все обернется против нас самих. — Он тряхнул головой. — Само по себе все это так и напрашивается в научно-фантастический сериал».

Я повернул голову в направлении камеры номер два:

«Еще в четверг вечером ситуация казалась под полным контролем. Последовали своевременные меры Его Преосвященства, взаимодействовавшего с самим генерал-губернатором, и нависшая угроза революции испустила дух».

В камере коротко вспыхнул красный предупредительный сигнал. Я снова взглянул на монитор, согласовывая свои слова с заготовленными Каппером документальными клипами.

«Спланированная таким образом, чтобы по времени совпасть с ежегодным празднованием Пасхи, революция, казалось, неотвратимо приближалась. Ровно неделю назад Иисус Давидсон, молодой бунтарь из Назарета, осуществил свой триумфальный въезд в город на осле. Какой бы странной ни показалась нам эта акция, для паломников-иудеев, запрудивших дороги к городу, она стала знамением. Согласно иудейскому преданию, это исполнение одного из определяющих пророчеств о Мессии — Боге-Царе, который придет, чтобы освободить Свой народ...»

В этом месте я надеялся, по крайней мере, хотя бы на один крупный план с Давидсоном: нечто отчетливое и драматически эффектное, что убедительно запечатлелось бы в памяти зрителей. Но все, что мне предложили, было посредственной любительской съемкой, сделанной через головы толпы. Можно было, правда, разглядеть, что Давидсон высокий, широкоплечий, с бородкой и высоким лбом. Но это все.

Черно-белые кадры являли взору довольно одинокую фигуру, неловко восседавшую на осле: удивительно не героическую в буре восторженных приветствий.

«В минувший вторник он атаковал иудейское правовое и церковное законодательство в самом его сердце — в великом Храме Господнем. Здесь, на внешнем дворе, произошло нечто, весьма похожее на призыв к бунту, когда он, прорвавшись сквозь толпы паломников, опрокинул столы менял, тем самым сокрушив их многовековую монополию на Храм».

Каппер оперативно переключился на этот клип. Камера, установленная на самой высокой точке храмовой стены, запечатлела волнующую панораму великого смятения, царившего во дворе храма. Поданное широким планом, оно походило на панику в растревоженном муравейнике. Сорвавшиеся с привязи жертвенные волы и овцы метались в толпе, их мычание и блеяние смешивалось с воплями женщин и бранью мужчин. Среди ног и копыт копошились люди и, рискуя быть затоптанными, собирали рассыпавшиеся монеты. А над их головами металась в небе огромная стая голубей.

«Это было очень похоже на прелюдию к успешному государственному перевороту. Обязательный обмен общепринятых денежных единиц на специальную храмовую валюту сопровождался непомерно большой государственной пошлиной и уже с давних пор вызывал негодование простых людей, вынужденных по баснословным ценам приобретать свои жертвоприношения на рынке Храма. Однако после выступления Иисуса Давидсона во вторник стало ясно,

что в нем народ (рабочий люд, во всяком случае) обрел, наконец, своего долгожданного вождя...»

По сигналу ассистента режиссера я снова обратился к камере номер один:

«И авторитетные обозреватели полагают, что в тот момент никто не смог бы воспрепятствовать ему провозгласить себя таковым. Если его целью действительно был захват власти, тогда невозможно объяснить, почему он не воспользовался ситуацией и не развил успех. Власть была парализована: огромные массы народа сплотились вокруг него. Благоприятность момента и как нельзя более подходящее место действия — все это было на его стороне. Царство предлагало ему власть над собой.

Но Давидсон не стал брать власть. Он незаметно выскользнул из толпы и исчез. Благоприятный момент был упущен. В четверг вечером он был арестован на тайной встрече за городом, преданный, как полагают, одним из ближайших своих сподвижников.

Разгневанная наэлектризованной атмосферой в городе, численность населения которого из-за притока паломников возросла десятикратно, власти без излишних проволочек привлекли его к суду. Высший судебный орган страны — Синедрион — заседал всю ночь и уже на утро пятницы представил свой вердикт генерал-губернатору провинции. Его Превосходительство подписал представленный документ, и Давидсон был казнен незамедлительно — еще до полудня. На этом революция — если это была революция — закончилась.

Во время субботнего празднования были приняты все необходимые меры по предотвращению

возможных инцидентов, которые могли быть спровоцированы сторонниками казненного бунтовщика. К концу дня полиция смогла констатировать, что обстановка оставалась спокойной...»

Камера номер два наезжала на меня для съемки крупного плана. На подходе был критический момент: освещение события, которое вполне могло оказаться не для слабонервного зрителя, переход от обыденной рутины к действию, которое многие сочтут за плод больной фантазии. Я спокойно посмотрел в объектив и заставил себя расслабиться.

«Однако вчера рано утром что-то произошло у могилы Иисуса Давидсона. Сказать точно, что именно, пока представляется затруднительным, тем не менее, чувствуются признаки явной тревоги, а представители израильской армии выглядят растерянными и испуганными. Результатом этой тревоги стало появление быстро распространяющихся слухов, будто казненный человек каким-то образом ожил».

Произнесенные спокойно, почти небрежно, голосом, вполне соответствующим чтению прогноза погоды, слова эти все же прозвучали крайне неправдоподобно. Я помнил все предупреждения Каппера и вдруг четко представил себе ошеломленное лицо Патроса, и сразу же почувствовал, как струйки пота покатались у меня по спине.

«Тем, кто в пятницу присутствовал на казни и на последовавшем за ней захоронении тела казненного Давидсона, будет трудно в это поверить. Однако нет сомнений в том, что происходит нечто очень стран-

ное, и власти, как иудейские, так и римские, вынуждены были отнестись к происходящему весьма серьезно. Вчера утром, вскоре после девяти, первосвященник проследовал в резиденцию губернатора и более часа вел там переговоры с Его Превосходительством. До настоящего момента никакого официального заявления об этой встрече сделано не было. Нам же была оказана привилегия: чуть попозже, этим же утром, нам позволили взять интервью у генерал-губернатора...»

3

Каппер положил трубку и кивнул:

— Порядок, Касс. Пилат ждет вас через пятнадцать минут. В резиденции.

— Вот это удача! Я думал, что он, вообще-то, мужик некоммуникабельный.

— О, напротив, он весьма коммуникабельный, однако я сомневаюсь, что даже ты сможешь из него что-нибудь выудить.

— Тогда зачем соглашаться на интервью?

Каппер улыбнулся:

— Ему нравится вершить правые дела.

— И он не боится своим участием испортить эти дела?

— Не боится. Он все превращает в безупречный спектакль и, поскольку он прекрасно умеет говорить, все всегда выглядит просто замечательно. Свой в доску, эдакий откровенный рубаха-парень. Он, конечно, всюю старается соответствовать выбранному имиджу. Это только потом, когда начинаешь раскладывать все

по полочкам, вдруг обнаруживаешь, что, в сущности, он ничего и не сказал.

Я взял с собой Грега и одного из специалистов Каппера, по имени Добер. Нас принял секретарь — скучающего вида довольно учтивый молодой человек — и препроводил в небольшую библиотеку на первом этаже. Пока Грег с Добером устанавливали осветительную аппаратуру, секретарь снабдил нас, как он сам выразился, «краткой информацией по “Е. П.”». Я понял, что загадочное «Е. П.» — не что иное, как «его превосходительство». Это что касалось Пилата, что же до нас, то его тон не оставлял сомнений, что нас он рассматривает как неизбежное зло, с которым он вынужден мириться: мы для него были чем-то вроде штукатуров или маляров — много пыли и грязи, к тому же могут испачкать, но, ничего не поделаешь, приходится терпеть.

— «Е. П.» любит поддерживать непринужденную беседу, — сказал он. — В пределах разумного, естественно.

Я холодно взглянул на него:

— Я не собираюсь называть его Понти, если именно это вас беспокоит.

— Именно это, господин Теннел, — устало улыбнулся секретарь.

Проследив за Добером, передвигавшим мебель, он сказал:

— Вы усадите его за письменный стол? Прекрасно, Его Превосходительство предпочитает опираться на что-нибудь надежное.

«Оно и понятно, — подумалось мне. — С репутацией, которую он здесь заслужил, ему нужна очень надежная опора».

Иерусалим считался бесперспективным местом — он стал кладбищем для многих политических карьер. И никто не удивился, когда именно Пилат получил сюда назначение. Буквально все в этом человеке делало его самой подходящей кандидатурой для работы здесь: его тщеславие, заносчивость, его патологическое непостоянство, длиннющий хвост тянущихся за ним дорогостоящих дипломатических промахов и, конечно же, его неудачная женитьба. После долгих лет осторожного, на ощупь, продвижения по зыбучим пескам частного порицания и публичного неуважения, он был готов ухватиться за все, даже за письменный стол, если тот мог дать ему иллюзию надежности.

— Мы его хоть за стойку бара поставим, приятель, если вам будет угодно, — сказал Грег.

Высокий и худой, с копной белокурых волос и веснушками, усыпавшими переносицу, Грег, в свои двадцать шесть лет, все еще выглядел так, словно только что закончил школу. Мы терпели его дерзкое, даже слишком дерзкое, чувство юмора из-за его совершенного, отточенного мастерства оператора.

Секретарь глянул на него с неприязнью и наклонил голову:

— В этом нет необходимости, благодарю вас. — Он посмотрел на свои часы: — У «Е. П.» сегодня расписан весь день. Так что, если вы уже готовы...

Добер нажал на выключатель, и комнату залил свет юпитеров. Грег подкорректировал свою аппаратуру, сделал пару подгонок и кивнул, чтобы выключили свет.

— Хорошо, — сказал он, — давайте его сюда.

Секретарь вышел и вернулся в комнату со своим боссом, после чего сделал официальное представле-

ние. Пилат пожал нам руки и выдал улыбку благоволения, имевшую явно первостепенное значение в его публичных встречах. Как правильно заметил Каппер, избранному имиджу он соответствовал. На середине шестого десятка, грузный, но прямой, в темном костюме, белой рубашке и при вожделенном сине-золотистом галстуке Преторианской гвардии, он олицетворял власть в миниатюре: его посеребренные сединой волосы были зачесаны назад с пробором по середине, прямой римский нос поддерживал широкий лоб. С такой эффектной внешностью, где-нибудь на саммите или конференции, на общем фоне торжественного приема или мимоходом, в профиль, он мог произвести глубокое впечатление. Но лицом к лицу и при крупном плане его выдавали глаза. Они у него были карими, несколько мелковатыми для его лица и хитрыми. Это была не хитрость пронырливого посредника, привыкшего срывать куш в любой ситуации, — это была хитрость, порожденная неуверенностью и осознанием собственной несостоятельности: как если бы крепко нашкодивший подросток, из страха перед заслуженным наказанием, спрятался внутри этого известного человека и робко выглядывал в мир из своего тайника. Перед вами был человек, который станет задавать вопросы не для того, чтобы докопаться до истины, но просто затем, чтобы выиграть время, чтобы выпутаться из затруднительного положения, человек совершенно беспомощный в любой критической ситуации, но способный занять твердую позицию в пустяковом вопросе.

Мы усадили его за стол — так, чтобы за ним, на втором плане, хорошо просматривались забитые книгами полки, провели короткий тест звукового уровня, включили юпитеры и начали съемку.

— Ваше Превосходительство, господин Пилат, — начал я, — не могли бы вы прокомментировать нынешнее кризисное событие?

На «ваше превосходительство» он отреагировал мгновенно. Раскрепощенно улыбаясь и излучая самоуверенность, он ответил:

— Разумеется, господин Теннел. Но я бы не называл это кризисом. Ни в коем случае. Ситуация под контролем. Не имеется абсолютно никакой причины для беспокойства — никакой, чтобы там ни говорили.

— Приятно слышать. Но по городу ходят упорные слухи об Иисусе Давидсоне...

— Давидсон мертв, — решительно прервал он, не дав мне договорить. — Мертв и похоронен. И я не вижу смысла в обсуждении данного факта.

Но меня не так-то легко было в этом убедить:

— Слухи утверждают, будто он снова живой.

Его открытая улыбка мгновенно уступила место приличествующей ситуации доброжелательной снисходительности.

— Снова живой? Да полноте, господин Теннел, неужели вы действительно думаете...

— Ну все еще живой, будем так говорить.

Он наклонился вперед, сцепив руки на столе, его лицо внезапно помрачнело.

— Господин Теннел, он был казнен солдатами десятого легиона. Это вам не какие-то там любители, знаете ли. Это одно из элитарных подразделений римской армии. Если они убивают человека, он умирает — и остается мертвым.

— Полностью согласен. Но, с другой стороны, слухи слишком настойчивы.

— Да, конечно, — улыбка вернулась на лицо точно по расписанию, — ведь это же Иерусалим, друг мой.

Ближний Восток! Здесь мы очень буйно обрастаем слухами. Это наш хлеб насущный. Мы в центре великого религиозного праздника! А иудеи очень эмоциональный народ. Вникните в суть происходящего, господин Теннел. Конечно, слухи есть, причем, одни лучше других. Но если бы вы пожили здесь с мое, вы не стали бы забивать себе голову базарными пересудами!

Я ободряюще кивнул. Не потому, что он нуждался в ободрении. О, если бы он, хотя бы наполовину, был таким же государственным деятелем, каким был актером, его бы никогда не выкинули за ненадобностью в Иерусалим!

— И что же вы думаете об утреннем инциденте у могилы?

Он предостерегающе вскинул брови.

— Боюсь, я не совсем вас понял, господин Теннел.

— Ну, землетрясение и все прочее.

— Ах, это, — улыбка появилась снова, на этот раз с оттенком вежливого равнодушия. — Я полагаю, что был легкий толчок, как раз перед рассветом. Видимо, это пора земной активности в нашем регионе. Ничего необычного в этом не вижу.

— Поговаривают, что землетрясение было довольно большой силы.

— Неужели? Я как-то не почувствовал.

— Очевидно, спите сном праведника, Ваше Превосходительство.

Это был первый укол, и он ему не понравился. Скучающая улыбка исчезла, глаза сделались подозрительными. Я понадеялся, что Грег успел схватить его крупным планом.

— Да, именно так, — сказал он, но в его голосе не чувствовалось беззаботности человека, способного проспать землетрясение.

Я решил немного усилить давление.

— Все же, я думаю, трясло довольно ощутимо, если от толчков разрушилась гробница.

— Ах, даже так? Очень, очень неприятно.

Это было прекрасно сработано, с точно рассчитанными интонациями. Если я буду и дальше вести себя в такой же манере, зритель воспримет меня как кладбищенского вора. Я быстро перевел стрелки.

— Не смогли бы вы прокомментировать поведение охраны?

Он пожал плечами:

— Охрана повела себя... не лучшим образом.

Он взглянул на меня с надеждой, но я не стал ему помогать. Я прекрасно понимал, что если промолчу, он будет вынужден дополнить свой ответ. Это первое правило берущего интервью. Собственно, каждый может дать краткий ответ. Однако далеко не каждый может после этого спокойно сидеть и ждать, воздерживаясь от каких-либо дополнений и разъяснений. Для этого требуется огромное самообладание, куда большее, чем самообладание Пилата. Помедлив с минуту, он сказал:

— Не наши ребята, разумеется. Иудейская армия. Все они хорошие солдаты, но немного, как бы это выразиться, неопытные.

— Вы хотите сказать, что они поддались панике? — уточнил я.

— Паника — сильное слово. Слишком сильное, я полагаю. Давайте лучше назовем это некоторым замешательством.

— Господин генерал-губернатор, а зачем понадобилось назначать конную охрану у могилы казненного?

Он откинулся назад, давая себе время на обдумывание:

— Это хороший вопрос.

— А ответ?

— Боюсь, что дать ответ будет достаточно сложно.

В значительной степени дело касается религии.

— О?

Он утвердительно кивнул.

— Иудейская религия. Они относятся к ней очень строго, знаете ли.

— Но какое отношение к делу Давидсона имеет религия? Я слышал, что Давидсон был политическим преступником, казненным за государственную измену?

— Да, это на самом деле так. Он провозгласил себя царем иудеев. И это было его самой большой ошибкой. Это заявление превратило Давидсона в прямую угрозу безопасности государства. Я оказал ему всю посильную помощь — какой только располагал. Выводил его к народу, предоставляя таким образом шанс оправдаться. Бесполезно. Он настаивал на том, что он — царь, и ничто на свете не могло его переубедить. В конце концов, у меня не осталось выбора, кроме как подписать смертный приговор.

И тут я понял, почему он согласился на интервью. Наблюдая за тем, как он устремлял взгляд вперед, ревностно всматриваясь в камеру, я увидел его таким, каким он видел себя сам: добросовестный, гуманный администратор, пытающийся в сложной ситуации беспристрастно выслушать любого человека и максимально милосердно осуществить правосудие. Но потом я заглянул в его глаза, и этот чудесный имидж тут же растаял.

— А религиозный аспект? — спросил я.

— Ах, да. Боюсь, что Давидсон был чем-то вроде

фанатика в этом вопросе. И это придает всей истории довольно... Э... Э... щекотливый характер.

Его глаза, с тоской наблюдавшие за мной, умоляли прекратить дальнейшие расспросы.

— И в чем же это проявлялось? — невозмутимо осведомился я.

— Ну, видите ли, он утверждал не только, что он царь, но еще и, м-да, что он — Бог!

— Понимаю.

— Довольно ошеломляющее заявление для каждого, кто не равнодушен к данному вопросу. Особенно для Его Преосвященства.

— Господина Первосвященника Каиафы?

Он кивнул:

— Весьма неприятное дело для него, как вы понимаете.

Ага, так вот как это было, подумал я: церковь против государства. Каиафа держит пистолет у виска Пилата, и тот приговаривает Давидсона к смерти, чтобы отвести от себя руку Первосвященника.

— Вы сказали, будто Давидсон утверждал, что он — Бог?

— Да, — Пилат улыбнулся. — Отсюда и стража.

— Прошу прощения за свое непонимание, но почему «отсюда и стража»?

— А разве не ясно? Первосвященник настоял на этом. Видите ли, господин Теннел, убить человека — это одно дело, убить же Бога — это, извините, нечто совсем иное. Если вы убиваете Бога, вы должны принять меры предосторожности. У вас же нет гарантии, что он так и останется мертвым. Посему вы и должны охранять его могилу.

— И строго взysкивать за слухи о воскресении?

— Ну это уж само собой разумеется. — Теперь он

улыбался широко: разговор тет-а-тет и никаких глупостей. Даже его глаза заулыбались, словно чрезвычайный цинизм его собственных слов каким-то непостижимым образом придал ему сил и уверенности.

— Ваше Превосходительство, — спокойно спросил я, подавляя в голосе нотки отвращения к своему собеседнику, — что вы думаете об Иисусе Давидсоне?

Улыбка мгновенно исчезла с его лица.

— Мне было жаль его, — сказал он. — Хороший парень, но лишенный душевного равновесия.

— То есть вы утверждаете, что он был не в своем уме?

— Я не располагаю основаниями для подобного утверждения, — покачал он головой. — Но, так или иначе, в нем проявлялось нечто странное, какая-то фатальная неизбежность. Я бы назвал это одиночеством.

— Желание смерти, может быть?

— Что-то вроде этого. Понимаете, он не пытался защищать себя. Я хотел заставить его осознать серьезность ситуации, но, странное дело, его это, казалось, совершенно не интересовало. Он просто стоял там, смотрел на меня и... ничего не говорил.

— Можно ли предположить, что он боялся?

— Боялся? О нет! Все было бы намного проще, если бы он боялся. Более нормально, если хотите. Но он не боялся, он не был напуган — он выглядел уставшим и... отсутствующим. Как если бы он уже достиг поставленной цели, а суд и казнь — это так, ничего не значащие мелочи, вроде как закрыть дверь и отправиться спать. Когда он смотрел на меня, мне показалось, будто он очень жалеет.

— О том, что натворил?

— Нет, — Пилат был растерян и даже не пытался это скрыть, — меня.

Я заметил испарину у него на лбу и был уверен, что взмок он не только от жара прожекторов.

— Это был полнейший абсурд, — сказал он, и в его ровный низкий голос вдруг ворвались визгливые нотки. — Он, должно быть, совсем не понимал, что был целиком и полностью в моей власти! Что стоило мне только произнести слово — и ему конец. — Он наклонился вперед, его лицо исказилось, побледнело. — У меня не было выбора, господин Теннел. Совсем не было. Я сделал все, чтобы помочь ему.

Наконец-то передо мной был подлинный Пилат, без актерской маски — тот самый нашкодивший мальчик, вдруг лишившийся своего имиджа.

— Не так-то легко приговорить человека к смерти, — тяжело выдавил он.

Ну да, особенно если он молод, подумал я, а ты знаешь, что он невиновен.

Вслух же я произнес:

— Но иногда необходимо?

Он с отчаянием ухватился за соломинку:

— Благо государства должно стоять на первом месте, господин Теннел. Чего бы это ни стоило!

«При условии, что за это платит кто-то другой, — хотелось добавить мне. — Некто, не имеющий ни влияния, ни богатых друзей в высших кругах».

— Я понимаю, — сказал я. — Думаю, мы все это понимаем.

— Очень надеюсь на это, — сказал он, обращаясь к невидимой аудитории. — Я надеюсь, что люди осознают, насколько опасной была ситуация. Не приняв решительных действий, мы могли бы сейчас столкнуться с серьезными проблемами.

— Приятно сознавать, что у нас есть люди, подобные вам, Ваше Превосходительство, — сказал я, по-

дыгрявая ему, но втайне надеясь, что телезрители проникнут в истинный, скрытый смысл моих слов, — цельные натуры, которые не боятся выполнять свою работу, какой бы отвратительной она ни была.

На миг мне показалось, что я хватил через край. Он с подозрением взглянул на меня своими быстрыми глазками. Но тщеславие тут же преодолело закравшееся было сомнение, и он выдал свою «фирменную» улыбку благоволения:

— Благодарю вас, господин Теннел.

— Итак, теперь все вернулось в нормальное русло?

— О да, — сказал он, снова расслабляясь. — Думаю, теперь мы можем это сказать с полным на то основанием.

— И все же, Ваше Превосходительство, эти слухи...

— Слухи не имеют значения, господин Теннел. Только факты. А факты таковы, что Давидсон мертв.

— Вы полагаете, мы слышим о нем в последний раз?

— Я так думаю. — Он сделал все, чтобы его голос прозвучал уверенно, а слова убедительно, я же был уверен в том, что они никого не убедили.

— Благодарим вас, Ваше Превосходительство. Вы нам очень помогли.

Он взглянул поверх моего плеча в камеру и принял на себя свое вице-королевское выражение: непререкаемый авторитет, основанный на понимании простого человека.

— Мне было приятно, господин Теннел.

Мы решили пройтись и сделать несколько снимков могилы. По пути остановились в небольшом баре на Давид-стрит и заказали виски.

— Мощное дезинфицирующее средство эта штука, — сказал Грег, кивая на стакан с виски. — Я снова начинаю ощущать себя чистым.

— Ты взял его крупным планом, когда я его растревожил?

Грег кивнул:

— Господи, что за фальшивка этот мужик. Мне казалось, что мы снимаем рекламный ролик зубной пасты. Улыбка на каждый случай.

Мы заказали еще по одной.

— Хотел бы я встретить Давидсона, — сказал Добер. — Любой враг Пилата теперь мне друг.

— Мне тоже, — заверил Грег. — Жаль только, что слишком поздно.

Я разглядывал золотистую жидкость в своем стакане. В некоторых областях империи ее называют влагой жизни и верят, что выпить ее, значит, вкусить бессмертие.

— Да, — согласился я, — очень жаль.

4

Маленькие, хитренькие глазки Пилата смотрели на меня с экрана монитора, а его голос вещал: «Мне было приятно, господин Теннел».

Я взял свой текст и повернулся к камере номер один:

«Это был взгляд на ситуацию генерал-губернатора провинции. Все нормально. Нет повода для беспокойства. Давидсон мертв, и мы перешагнули через

кризис. Это весьма утешительные слова, и каждый из нас хотел бы им верить. Но факт остается фактом: тело Давидсона исчезло. Его склеп, тщательно опечатанный и охраняемый, оказался пуст...»

Склеп находился в частном саду за городом, в красивом местечке с деревьями, травой и весенними полевыми цветами. Это было довольно вычурное строение: небольшой, в греческом стиле мавзолей из мрамора, со ступенями, ведущими вверх, к портику с колоннами, поддерживающими кровлю. Массивная каменная плита, герметично закупоривавшая вход, была не просто отвалена, но еще и вынута из пазов. Две колонны сильно покосились, а на кровле не хватало черепиц.

Грег присвистнул:

— Послушай, Касс, когда захотят повесить меня, позаботься, чтобы это произошло в Иерусалиме. У нас как-то не принято хоронить преступников в таких роскошных усыпальницах. У нас все проще: обычная яма на тюремном дворе и пара мешков негашеной извести.

Место было ограждено канатами, и разрозненные группки туристов прилипли к ним, пытаясь заглянуть в склеп и, на всякий случай, не спуская глаз с охраны. Грег отснял пару коротких эпизодов, чтобы представить в нашем репортаже место действия. Двое или трое зевак быстро ретировались, чтобы не попасть в кадр, но все прочие остались стоять, бросая на камеру испуганно-любопытные взгляды.

Мы пролезли под канатами и прошли через поляну туда, где около джипа стоял офицер и разговаривал с сержантом охраны. При нашем приближении он замолчал и хмуро уставился на нас.

— Слушаю?

Это был сурового вида человек, с большим крючковатым носом и толстыми губами, с загрубевшей от пустынного солнца кожей, облаченный в военно-полевую форму цвета хаки. На его гимнастерке двумя рядами красовались орденские ленты, и он всем своим видом давал понять, что заслужил их не в разговорах с гражданскими лицами.

— Доброе утро, майор, — поздоровался я. — Мы из...

— Мне абсолютно все равно, откуда вы, — сказал он хмуро, — но сюда вход запрещен. Это охраняемая территория, и я вынужден предложить вам незамедлительно ее покинуть.

Он круто повернулся к нам спиной и сказал что-то сержанту, который, отсалютовав, тут же бросился к склепу. Я сверился со списком, который дал мне Каппер:

— Я ищу майора Санбаллета.

Он повернулся ко мне:

— Я Санбаллет.

Я кивнул:

— Меня зовут Теннел. Мы только что обсуждали с генерал-губернатором инцидент, имевший место сегодня утром. Вы были старшим офицером охранной команды, не так ли?

— Да.

— Я бы хотел задать вам несколько вопросов.

Он свирепо посмотрел на Грега, возившегося с камерой.

— Это официально?

— Более или менее, — улыбнулся я. — Мы готовим программу о...

— Мне нечего сказать.

— Означает ли это, майор, что вам есть о чем умалчивать?

— Нет, не означает.

— Ну вот и хорошо, — я снова улыбнулся. — Стало быть, нет и проблем, не так ли?

Он метнул в меня такой свирепый взгляд из-под своих густых бровей, что я едва удержался от желания вытянуться по стойке «смирно».

— Послушайте, господин как-вас-там. Я...

— Теннел, Касс Теннел. Это не займет много времени. Минут пять, не больше. Ну десять от силы.

— Ничего не выйдет, господин Теннел.

— Не выйдет?

— Нет! — покачал он головой.

— Конечно, это вам решать, — согласился я. — Но тогда генерал-губернатор захочет узнать о причинах вашего нежелания сотрудничать. И я вынужден буду признаться, что мне они тоже неизвестны.

Он посмотрел на меня глазами, полными раздражения и злобы.

— Именно так и не иначе?

— Да, майор, боюсь, что именно так.

Он постоял с минуту, подумал.

— Не очень-то я люблю, господин Теннел, когда меня загоняют в угол.

— Сожалею, — сказал я, — но у меня свои предписания, как и у вас — свои.

— Я мог бы немедленно арестовать вас за правонарушение.

— Но не сделаете этого, — улыбнулся я ему. — Майор Санбаллет, судя по тому, что я вижу, ваш отряд вышел из сегодняшнего утреннего инцидента не самым лучшим образом. Я даю вам возможность рассказать об этом по телевидению. Неужели вы в самом

деле думаете, что для вас будет лучше, если я завтра вечером выйду в эфир только для того, чтобы поведать телезрителям о вашем отказе дать какие-либо разъяснения? И это сразу после того, как закончит свое выступление генерал-губернатор!

— Ладно, — согласился он, — только давайте покороче.

Добер установил магнитофон на капоте джипа. Я взял у него микрофон и кивнул Грегу. Как только камера стала разворачиваться в нашу сторону, я сказал:

— Скажите, майор Санбаллет, что именно произошло здесь этим утром?

— Было землетрясение. Ровно в четыре часа утра.

— Насколько сильное? Как бы вы его охарактеризовали?

— Мне приходилось видеть землетрясения и по сильнее сегодняшнего.

— Вы были именно в этом месте, не так ли?

— Нет, я был в штаб-квартире.

— Вон там, в казарме?

— Да.

— Понимаю, — осторожно сказал я.

Он свирепо уставился на меня.

— Для командира охраны штаб — это надлежащее место для несения службы.

— О да, конечно. Но кто же тогда был за главного здесь, у могилы?

— Сержант Бакра. Капитан Джакуб проверял посты.

— То есть совершал обходы?

— Да, он был дежурным офицером.

— Означает ли это, что он лично был свидетелем землетрясения?

— Да, означает.

— Понятно, а нельзя ли мне побеседовать с ним об этом?

— Боюсь, что нет. Сожалею.

— На это имеется какая-то особая причина?

— Он, э-э-э, к нему нет доступа.

— Он ранен?

— Нет.

— Понимаю. А как насчет сержанта Бакра и остальной команды?

— Недоступны.

— Видимо, были какие-то неприятности?

— Не было неприятностей, — сказал он жестко.

— Но ожидают?

— Не понял вас?

Его речь была отрывистой и язвительной: каждое слово — короткая, яростная вспышка. Мне даже показалось, что я беру интервью у пулемета.

— Правда ли, что люди были в панике? — спросил я.

— Конечно, нет.

— Нет?

— Не было никакой паники.

— Но, в таком случае, майор, что же произошло? — недоуменно спросил я. — Что-то ведь пошло не так, как надо. Что же это было?

— Я не могу это обсуждать, — зло и раздраженно сказал он.

— Понимаю.

Он бросил на меня хмурый взгляд.

— Это секретная информация. Вам следует дожидаться результатов официального расследования. Извините.

— Не надо извиняться, майор, — улыбнулся я. — Я все прекрасно понимаю и уверен, что зрители тоже поймут. Но скажите, майор, — быстро добавил я,

прежде чем он успел меня прервать. — Кто передал вам рапорт об инциденте?

— Инциденте? Каком инциденте?

— О землетрясении. О чем же еще?

— Капитан Джакуб. По радиии.

— А он как? Не показался вам взволнованным?

— Он был озабочен, и только.

— Чем?

— Состоянием здоровья людей.

— А тем фактом, что могила разверзлась, он озабочен не был?

— И этим тоже, — сказал он жестко.

— Это, вероятно, сопровождалось большим шумом?

— Да.

— И вы, конечно же, незамедлительно бросились сюда. Что произошло потом?

— Ничего. Сержант Бакра помог людям прийти в себя. Все стало спокойно.

— А-а, — сказал я, — так им необходимо было прийти в себя? Но когда вы прибежали, все было уже нормально?

— Вполне нормально.

— Но склеп оказался пуст?

Он заколебался, как если бы пулемет на мгновение заклинило.

— Да, — выдавил он наконец. — Он был пуст.

— Вы это лично проверили, не так ли?

— Естественно.

— Есть ли у нас шанс снять сейчас камерой внутренность склепа? — поинтересовался я.

— Боюсь, что нет. Место не безопасно. Эта крыша, вон, видите, может рухнуть в любую минуту.

— М-да, — сказал я. — Однако этот склеп слишком роскошный для преступника. Вы не находите?

— Его возвели для совсем другого человека.

— О? Для кого же?

— Преподобный господин Иосиф. Он раввин из Аримафеи. Этот склеп он возвел для себя.

— Он был одним из соратников Давидсона?

— Едва ли. Он член Синедриона.

— В самом деле? Влиятельный человек, надо полагать?

— Да, весьма.

— Это странно, вам не кажется?

— Может быть.

Он с подозрением покосился на меня. Я дал знак Грегу, и он снял майора крупным планом.

— Итак, когда вы пришли сюда, тело уже исчезло?

— Я только что об этом сказал.

— И каково ваше объяснение этого факта, майор?

Он хмуро посмотрел в камеру.

— Мое объяснение изложено в моем рапорте, — сказал он и плотно сжал губы.

— В этом я уверен, майор, — сказал я и выждал с минуту, безо всякой, правда, надежды, что он что-нибудь добавит. Это, в отличие от Пилата, был дисциплинированный вояка, для которого молчание не было в тягость.

— Майор Санбаллет, — сказал я, понимая, что сам он не заговорит, — что вы лично думаете об Иисусе Давидсоне?

Майор Санбаллет был готов к этому вопросу.

— Я солдат, — отчеканил он, — я не думаю.

— А-а, ну да. Конечно. Но вы ведь не только солдат, вы иудей. И уж наверняка, как у иудея, у вас имеется какое-то мнение о человеке, который осмелился назвать себя Богом?

— Это богохульство, — сказал он твердо.

— Ну это само собой разумеется, — согласился я. — Однако почему он сделал такое заявление?

— Он был сумасшедшим!

— Сумасшедшим?

— Да, именно это я и сказал.

— М-да, звучит как эпитафия: «Он был сумасшедшим!»

— Если вам угодно.

— Я полагаю, майор, это и есть эпитафия? Я хочу сказать, вы в самом деле уверены, что он мертв?

Он с раздражением посмотрел на меня.

— Абсолютно уверен.

— Ну что ж, — сказал я, — благодарю вас, майор.

Мы на своих плечах перетащили оборудование к машине. Грег достал сигареты, и мы задымили в задумчивости.

— Разговорчивый тип этот майор, — заметил Грег. — Хотел бы я знать, что он там насочинял в своем рапорте?

— Что бы он там ни сочинил, — ответил я, — но страху они натерпелись, это факт.

5

Санбаллет запечатлелся на пленке этаким величественным воином, куда большим римлянином, чем сами римляне: ни дать ни взять, эталон воинской прямоты и бесхитростности. Созерцая его на экране, я почти явственно слышал бой барабанов и посвист флейт. Его финальная сердитая реплика: «Абсолютно уверен» — прозвучала как команда «пли» на плацу пе-

ред строем и послужила мне отправной точкой для очередного хода.

«Но город, — комментировал я события, — не питает столь абсолютной уверенности. В течение утра слухи усиливались по мере того, как все большее число паломников приходили посмотреть на пустую могилу и возвращались, удивленные. На улицах и площадях города напряженность усиливалась.

Незадолго до полудня Его Преосвященство господин Каиафа, Первосвященник Иудеи, созвал чрезвычайный сбор Синедриона.

Синедрион состоит из группы священников, обладающих, если уместно такое сравнение, рангом высших правительственных чиновников. Поддерживаемый огромным авторитетом древнего Закона Моисеева, Синедрион контролирует религиозно-общественную жизнь нации и обладает непререкаемой властью.

Встреча состоялась в зале Кворумов во Дворце. Пресса и телевидение допущены не были. Однако нам все же удалось поговорить с одним из членов Синедриона, после того как он вышел из зала заседаний».

Находящийся в непосредственной близости от Храма Дворец Первосвященника несколько терялся рядом с величественными храмовыми постройками, но, тем не менее, это здание, обращенное к просторной мощеной террасе и обрамленное с двух сторон стенами парка, выглядело довольно внушительно. Лестничный марш вел вверх, к террасе и дальше, к главному входу, — довольно массивным, обшитым медью дверям. Над ними из глухой серой стены высту-

пал балкон с огромной золотой звездой Давида на медальоне из белого мрамора. Вход охранялся отрядом элитной гвардии Храма: специально отобранными людьми, экипированными в особую форму — пурпурную тунику, клетчатые брюки и белую шерстяную накидку, скрепленную пряжками на плечах. Особую внушительность гвардейцам придавала крупная кокарда на загнутой кверху тулье фуражки.

Проезжая по городу, мы всюду замечали нарастающее возбуждение. Магазины были открыты, в них толпились люди, но было видно, что никто ничего не собирается покупать. Почти на каждом углу, по краям тротуара собирались группами люди — без крика и демонстраций, они просто стояли, словно зрители, ожидающие какой-то процессии. На улице, внизу, под террасой Дворца, собралась порядочная толпа, желающая понаблюдать за прибытием священников и дожидаться их появления после заседания. Бросалось в глаза обилие полиции: хладнокровной и готовой к действиям, в защитно-полевой форме, при боевом оружии. Но особой работы для полиции пока не предвиделось. Народ был спокоен, чувствовалась, скорее, напряженность, а не назревающий бунт — выжидание и затаенный где-то глубоко страх. Мы медленно проезжали мимо них в машине, и мне вдруг вспомнилось чувство, которое я испытывал, когда ожидал момента полного затмения солнца.

Мы припарковались у края тротуара, как раз у начала лестницы, ведущей на террасу. Грег сразу же принялся за работу, начал снимать толпу и Дворец, а Добер занялся аудиоаппаратурой — магнитофонами и микрофонами. Каппер снабдил нас особыми пропусками, и нам было разрешено пройти

прямо на террасу. Там уже были Мордахей из «Синдикат Интернейшнл» вместе с Джимом Фрудом из афинского «Универсала», а также двое или трое местных журналистов. Они стояли справа от нас, помахали и покивали, но попыток присоединиться к нам не сделали. У всех у них было инстинктивное недоверие газетчиков к телевизионщикам, и я знал, что как только встреча завершится, они тут же бросятся к ее участникам, как стая волков, чтобы опередить нас.

В два часа дня большие ворота распахнулись, и гвардейцы замерли при появлении священников. Я надеялся, что по такому случаю священники будут облачены в свои пышные одеяния, но они были в гражданском, в обычных черных костюмах. Они стали спускаться по ступеням к террасе, сбиваясь во все более плотную группу, по мере того как репортеры теснили их, размахивая микрофонами и выкрикивая вопросы. Грег снимал общий план, поджидая момент, когда я тоже ввяжусь в эту сутолоку. Но я продолжал спокойно стоять, не мешая общей суматохе. Конечно, я рисковал, но я надеялся, что появится и для нас какой-нибудь «отбившийся солдат».

Священники, с досадой отмахиваясь от крикливых журналистов, двигались вдоль террасы по направлению к потайным воротам Храма на отгороженной территории. Из толпы раздалось несколько отрывистых хлопков и один или два неодобрительных свиста. На мгновение показалось, что мы полностью «прохлопали» ситуацию. И тут наш «отставший солдат» тихо вышел из открытых ворот и двинулся вниз, прямо на нас. Я выхватил у Добера микрофон и бросился ему навстречу.

— Извините!

Он резко повернулся, и я увидел перед собой немолодое, умное лицо, с глубоко посаженными усталыми глазами.

— Шалом, сын мой, — сказал он. Его голос был вежливым и спокойным, голос проповедника, привыкшего и умеющего говорить. — Да будет мир тебе.

— Шалом, — ответил я.

Он сделал два или три шага, и я, шаг в шаг, следовал за ним.

— Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?

Он остановился и посмотрел мимо меня — на Добера и Грега. На улице, внизу, толпа быстро расходилась, вежливо побуждаемая к этому полицией.

— Вопросы? — спросил он. — Что за вопросы?

— Ну, может быть, начнем с того, что узнаем ваше имя? — улыбнулся я.

— Мое имя Никодим, — сказал он. — Но я не совсем понимаю, чем могу...

— Преподобный Якоб Никодим?!

— Да, это я.

Это была неожиданная удача. Каппер коротко охарактеризовал мне почти всех членов Синедриона. За исключением одного-двух, все они были избраны за их крайний консерватизм: люди, на которых можно было положиться в полной уверенности, что в любой экстремальной ситуации они будут строго блюсти интересы Синедриона. Якоб Никодим был в числе тех одного-двух, которые являлись исключением.

«Не потому, что он бунтарь, — говорил Каппер, — отнюдь, но он есть то, что можно было бы назвать живой совестью. Известно, что иногда он позволяет себе не соглашаться с Синедрионом».

Я сказал:

— Господин Никодим, давайте пройдем в сад, вы не против? Там нам будет намного спокойнее.

Я взял его под локоть и повел прочь с террасы. Грег и Добер молчаливо следовали за нами. Дорожка, попетляв в тени деревьев, привела нас к небольшому фонтану на лужайке, поросшей травой и цветами. Здесь мы остановились, и я повернулся таким образом, чтобы не только я сам, но и Никодим оказался лицом к камере, после чего незаметно подал знак Грегу начинать съемку.

Чтобы проинформировать зрителя, кого он видит рядом со мной, я начал со вступления:

— Господин Никодим, вы являетесь членом Синедриона, не так ли?

— Да, это так.

— Осмелюсь спросить, не могли бы вы сказать несколько слов о сегодняшнем утреннем заседании?

— К сожалению, я не могу позволить себе подобную нескромность.

— Но было ли принято какое-либо решение, скажем так, «на политическом уровне» о муссируемых повсюду слухах о появлении Иисуса Давидсона?

Он покачал головой:

— Я простой священник, сын мой. Я ничего не смыслю в политике.

Он кротко посмотрел на микрофон в моей руке, потом перевел взгляд на камеру. Его поведение было таким простодушным и наивно-обходительным, что я почти был готов прекратить съемку, зачехлить камеру и, поблагодарив, отпустить его на все четыре стороны. Думаю, будь его костюм хоть чуточку поношенным или, на худой конец, примятым, я бы именно так и поступил. Как и многие мои современ-

ники, отвергавшие традиции официальной церкви, я был склонен к абсурдной сентиментальности, когда дело касалось бедных священников. Не руководителей церкви, нет: для этой компании я — нераскаявшийся атеист, и ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем малейшая возможность сбить с них спесь перед телекамерой. Но когда дело касалось скромных священнослужителей в поношенном одеянии... Что-то такое есть в них, возможно, какая-то наивная искренность, которая притупляет мою бдительность и обезоруживает меня. Они, в одно и то же время, абсолютно беззащитны и непреодолимо сильны: они не ищут покровительства сильных мира сего, живут в гуще людской, видят всю грязь этого мира и, тем не менее, остаются чистыми и не запятанными. Я не могу принять их веру, которая представляется мне безнадежно устаревшим атрибутом ушедших эпох. Но они сами! Они производят на меня неизгладимое впечатление. Они сияют в мутном отстойнике жизни, как крупинки золота в лотке старателя — их нелегко найти, зато легко утратить. Когда я встречаю одного из них, я испытываю к нему покровительственное чувство. Не чувство вины, нет, но покровительство. И, самую малость, — зависть. Это словно встретиться вновь с частичкой своего детства: найти вдруг книжку с картинками, годами пролежавшую в забвении под кипой бумаг в шкафу; или очерк, удостоенный приза и написанный тобою в тринадцать лет, когда все еще было логично и виделось в строгих границах черного и белого. Такое явление как смиренный священник свидетельствует о другом мире — мире, из которого нас изгнали, а может быть, мы и сами покинули его. Это не тот мир, который мог бы нас,

теперешних, удовлетворить. Но это он — тот единственный мир, в котором мы когда-то познали счастье, ибо это был мир, в котором вера и разум были еще единым целым. И теперь, глядя на Якоба Никодима, я вспомнил об этом мире. Никодим стоял у фонтана в этом тихом парке — простой священник из провинции, избранный в Синедрион в знак признания его самоотверженного служения в безвестном церковном приходе. И вот теперь он вдруг обнаружил, что втянут в высокую политику, в которой он ничего не смыслил. Все, буквально все в нем убеждало в смиренной, свободной от порока жизни. Все, за исключением явной житейской мудрости, отражавшейся в его глазах, да осознанного достоинства в осанке. А также за исключением того факта — в моих глазах факта осуждающего, — что одет он был в очень дорогую одежду. Действительно дорогую.

Я сказал:

— Разговор был об Иисусе Давидсоне, как я понимаю?

— Мы его обсуждали.

— Но не как политическую фигуру?

— Мы священники, а не государственные деятели. Наши заботы связаны, скорее, с верой, чем с политикой. Дела государственные мы с благодарностью оставляем Риму.

«Достаточно честно, — подумал я, — но вы не убедите в этом Пилата. Тем более после того, что случилось ночью в прошлый четверг».

Я решил уточнить:

— Тогда, значит, вы обсуждали его как религиозного деятеля?

— Можно и так сказать. Да.

— Будет ли опубликовано заявление, предусматривающее религиозный подтекст воскрешения?

— Такого я не представляю, — вскинул он брови. — Подтекст данного события теологически достаточно очевиден.

— Каким образом?

— Власть побеждать смерть является прерогативой Бога!

— Понимаю, — согласно кивнул я. — Это совершенно определено и однозначно, не так ли? Однако не существует ли некоторых доктринальных оговорок, допускающих...

— Это аксиома.

— Благодарю вас, господин Никодим, — улыбнулся я. — Итак, если окажется, что Давидсон в самом деле жив, тогда останется только признать, что он является Богом?

— Тогда пришлось бы признать, — сказал он, аккуратно меняя наклонение на сослагательное. — Да.

Я согласно кивнул:

— И каков тогда был бы теологический подтекст, господин Никодим?

Он, прищурившись, посмотрел на меня.

— Вывод был бы, конечно, потрясающий. Беспрецедентный.

— Не это ли вы обсуждали сегодня утром?

— Нет, право же, не это, — он стал смотреть себе под ноги.

Я медленно произнес:

— Он жив?

Он попытался улыбнуться и — не получилось. Кончиком языка он скользнул по губам, и в его глазах промелькнула искорка страха. Не сомнения! Страх. Того страха, который охватывает человека,

построившего всю свою жизнь на одной единственной идее, посвятившего все свое время и всю силу своего разума ее постижению и вдруг заподозрившего, что он ошибался. Ошибался не тотально, не в сути самой идеи, но в какой-то мелочи, внезапно ставшей основополагающей. Я вспомнил несколько строк из древнееврейского литературного памятника, оставшихся в памяти со времен занятий по курсу всемирной культуры:

Камень, который отвергли строители,
Соделался главою угла*.

Наблюдая страх в глазах Никодима, я вдруг понял, что эти строки удивительным образом ассоциируются с его страхом. Передо мной был уже не провинциальный священник, с головой ушедший в дела, в которых он совершенно не разбирался. Это был умный человек — ученый, имеющий совесть и прекрасно во всем разобравшийся. Он разобрался — и испугался того, что ему открылось, что стало для него очевидным.

— Жив? Как он может быть жив? — этот вопрос он задал, скорее, себе, чем мне: метафизический вопрос, который вдруг, совершенно неожиданно, обрел практическое значение.

Я дал ему время потеряться над его же собственным вопросом и задал свой:

— Я слышал, вы были против разбирательства этого дела в суде. Так ли это?

— Конечно, нет! — за этими словами чувствовалось неподдельное возмущение, и оно вытеснило,

* Псалмы Давида, псалом 117, ст. 22.

во всяком случае на мгновение, страх. — Мои усилия были направлены исключительно на то, чтобы суд был проведен должным образом и с соблюдением законности.

— Конечно. Но ведь общеизвестно, что ваши взгляды не были поддержаны большинством ваших коллег.

— Мы в Синедрионе вольны выражать наши убеждения открыто. Только так может свершаться правосудие!

— Говорят, что Его Преосвященство, господин Первосвященник, резко и решительно опроверг ваши доводы.

— Неужели? — спросил он совершенно без интереса.

— Господин Никодим, — сказал я, — вы упомянули правосудие. Вы полагаете, оно свершилось — в отношении Иисуса Давидсона?

— По мере наших сил и способностей, несомненно, да.

— Он был осужден должным образом и на основании неопровержимых улик?

— Показания свидетелей были заслушаны.

Я тяжело взглянул на него:

— Я спросил не об этом, господин Никодим.

Он нахмурился:

— У меня нет желания оказаться в двусмысленном положении, — сказал он. — И вот еще что: не могли бы вы не называть меня господином Никодимом? Я больше привык к обращению «равви».

— Конечно, равви. Извините.

— Спасибо.

«Неплохая шпилька, ваше преподобие, — подумал я, — но так просто я не сдамся».

Я сказал:

— Так как насчет показаний свидетеля, равви? Они были удовлетворительны?

— Там было много свидетелей, дававших показания против него.

— А их показания совпадали?

— В основном, да.

Он воспринимал это серьезно, я это видел, и был честным в своих ответах. Стоя здесь, в ярких лучах солнца, он вновь прокручивал все это в своей памяти, перебирая все сомнения, пережитые им в суде, и цепляясь за каждую возможность оправдать себя за то, что сказал и сделал. Я отчетливо видел, что ему было важно не только меня убедить в справедливом решении суда, но и себя тоже.

— В основном, — повторил я его слова, — но не целиком и полностью?

Он глянул в камеру и тут же отвел глаза.

— Имелись кое-какие несущественные расхождения — второстепенные детали, не имеющие никакого значения.

— Но достаточно весомые, чтобы повесить невиновного человека?

Он воспринял мои слова как удар ниже пояса и сердито отреагировал на них:

— Это совершенно неэтичное утверждение.

— Прошу прощения, равви. Вы сказали, против него было много свидетелей.

— Да. Он был не очень осторожен в своих действиях и высказываниях.

— И не было никого, кто свидетельствовал бы в его пользу. Верно?

— Это верно, но...

— Но не совсем обычно, не так ли, равви?

— В общем-то, в свидетелях особой необходимости не было. Он осудил себя сам.

— Вы хотите сказать, он сделал признание?

— Это было нечто большее, чем признание. Это было провозглашение. — Он покачал головой. — Он говорил очень мало. Но то, что он сказал, было ужасно. Он лишил нас возможности спасти его.

— Понимаю. Значит, вы согласны с приговором?

— Это был наш общий вердикт.

— Ни одного голоса против?

— Ни одного.

Я просигнализировал Грегу: съемка крупным планом.

— Кто-нибудь воздержался от голосования?

— Вы не имеете права задавать такие вопросы.

Страх вернулся на свое место, теперь уже больший, но все еще контролируемый. Я, не позволяя Никодиму опомниться, надавил:

— А вы, равви? Вы отказались голосовать за его казнь?

Он смотрел на камеру, как кролик на удава:

— Да, — сказал он в пустоту, сказал очень тихо. — Я отказался голосовать.

Я кивнул:

— Это ведь было обвинение в богохульстве, не так ли?

— Он провозгласил себя Сыном Бога. Вот поэтому мы и были бессильны спасти ему жизнь.

— Вы хотели спасти его? — мягко спросил я.

— Да.

Я позволил этому слову на миг зависнуть в воздухе: невнятный отзвук сожаления, медленно сливавшийся с шумом струящейся из фонтана воды.

— Разве у Бога есть сын? — спросил я, помедлив.

— Так мы верим. Мы называем его «Он, Который грядет».

— То есть Мессия?

— Это его имя.

— И какова же цель его прихода?

— Принести жизнь, — сказал он просто.

— Жизнь? — удивился я. — Но все мы имеем жизнь.

Он тряхнул головой и улыбнулся доброй, непринужденной улыбкой. Мы ступили на знакомую ему территорию, и почва под его ногами перестала быть зыбкой.

— Нет, — покачал он головой. — Мы имеем только иллюзию жизни. Всего лишь горстку лет между рождением и смертью.

Я не мог угадать наверняка, куда заведет нас эта философия, но Теплоу любил философию, и я решил, что программа может позволить себе небольшое отвлечение на эту тему.

— Лета в этой горстке могут быть прекрасными летами, — сказал я.

— Да, для кого-то, может быть, прекрасными. Для богатых, для власть имущих, для тех, кто еще молод и полон надежд... Хотя, даже и для них года летят слишком быстро и в итоге приводят в никуда. Но есть и другие: слепые, увечные, нищие... Есть родители, которые видят своих детей, дерущихся из-за корки хлеба, подобранной на улице, есть вдова, рыдающая одинокими ночами, есть муж, у которого жена больна проказой, есть мать с ребенком-идиотом — для этих людей отпущенные им лета не столь прекрасны.

Он вздохнул:

— Есть одна мечта, которой грезит все человечество. Мечта о свободе. Она преследует нас, ибо все

мы — узники. Еврей и римлянин, король и нищий — одинаковые узники своей плоти. В момент нашего рождения мы приговариваемся к смерти — и мы знаем об этом. Именно эта осведомленность делает нас людьми. Мы имеем только иллюзию жизни, но жизнь, сама жизнь, для нас за пределами досягаемости. Мы видим ее через окошки наших глаз точно так же, как заключенный видит мир из оконца своей темницы. Видим ее и страстно желаем обладать ею. Но когда мы протягиваем руку, чтобы ухватить ее, она проскальзывает сквозь пальцы.

Иудеи преуспели в трагедии. Они взлелеяны меланхолией. Я нашел его мысли патологически депрессивными, но они подействовали на Якоба Никодима как мощная инъекция адреналина. Мне даже показалось, что он стал визуально выше и крепче.

— В годы изгнания, — продолжал он, — когда мой народ держали в плену в Вавилоне, жил человек по имени Исаия, который понимал эти вещи. Он был особенным человеком — из тех, кого мы называем пророками, — и он рассматривал вавилонское пленение как символ темницы смерти. Он говорил о Сыне Божьем, о Том, Который должен прийти, и говорил о Нем такими словами: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя».

Никодим преобразился: теперь он высоко держал голову и речитативом произносил слова, стоя у фонтана, на фоне величественной панорамы Храма, и вкладывал в свой голос всю мрачную гордость своего народа.

«...Ибо Он послал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, про-

поведовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».

Я не совсем четко представлял, как это будет выглядеть на экране: скорее всего, несколько напыщенно и, где-то, неубедительно. Но здесь, во дворцовом парке, эта речь, произнесенная такой яркой личностью, звучала чрезвычайно искренне и настолько впечатляюще, что могла даже исказить мой замысел. А посему я крепко сжал микрофон и постарался думать о Грегге с его камерой.

— Благодарю вас, равви, — сказал я, вкладывая в голос элемент эдакой скучноватой индифферентности. — Это действительно очень интересно.

Конечно, это было непростительно. Преднамеренное, грубое вторжение в возвышенное расположение духа — такое же дикое проявление невежества и черствости, как хохот на похоронной церемонии. Он быстро отвернулся, словно ему дали пощечину, и укрывшись в себе.

— Конечно, — продолжал я тем же голосом, — я не достаточно компетентен, чтобы говорить о теологической подоплеке сказанного вами, но мне кажется, что Иисус Давидсон как нельзя лучше соответствует вашему описанию Мессии. Я имею в виду именно прозрение слепых и тому подобное. Я знаю, что он специализировался на этих вещах.

Однако Никодим уже был настороже:

— Было много других людей, до него, которые совершали подобные акты исцеления. Но никто из них не был Им — Тем, Кого мы ждали.

— Не был Им и он?

— Нет. Во многом он был замечательной личностью, и на какое-то короткое время у некоторых из нас появилась надежда, что, возможно, в нем воплотились чаяния нашего народа. Но мы ошиблись.

— Вы уверены в этом?

— Совершенно уверен.

Это было то же, что говорили Пилат и Санбаллет. И в их устах эти слова звучали так же вымученно и неубедительно.

— Равви, — спросил я, — что делает вас таким уверенным?

Наши глаза на мгновение встретились, а затем он потупился:

— То, что он мертв.

— Мертв? Или же — был мертв?

Голосом человека, вызубрившего формулы, он забубнил:

— Мессия не может умереть. Мессия — победитель смерти, податель жизни.

— Понимаю, — сказал я. — Остается только выяснить одну маленькую деталь, и я был бы признателен, если бы вы мне помогли.

— Слушаю.

— Вы сказали, что ему было вменено в вину богохульство.

— Это так.

— А казнен он был все же как изменник, то есть как враг государства, а не веры. Возможно, вы попытаетесь объяснить, каким образом человек, обвиненный в богохульстве, может быть казнен за государственную измену?

Он потупился, и его голос вдруг зазвучал по-старчески надтреснуто. Страх уже завладел им и стал как бы его маской, а вся его гордость истаяла.

— Это было... То есть, я думаю... Это была... Э-э...

— Заранее спланированная акция избавления от него? — жестко сказал я. — Вы ведь это хотите сказать?

— Я... Э-э... Я не... Пожалуйста, позвольте мне пройти. У меня много дел, которые я должен... Извините, но я вынужден оставить вас... Я не могу больше отвечать на...

Я шагнул в сторону и улыбнулся, когда он прошел мимо меня к камере и за нее.

— Благодарю вас, равви, — мягко сказал я. — Я вам очень и очень благодарен.

6

В студию мы вернулись около трех часов, отдали фильм в обработку и поднялись лифтом в офис Каппера. Каппер достал сэндвичи и пиво, и мы, немного расслабившись в созданной кондиционером прохладе, слушали сделанную нами сегодня магнитофонную запись. Нас не покидало какое-то странное, тягостное чувство. Подобно абстракционистской мазне, слова требовали к себе внимания, не давая ничего взамен. Что действительно откладывалось в памяти, причем намертво, так это зловоние тайного сговора и предательства. Дослушав до конца, Каппер презрительно фыркнул и покачал головой.

— Черт возьми! У него не было ни малейшего шанса против этих парней. — Он уселся в кресло, сцепив руки за головой. — И, однако же, это облегчает нам жизнь, Касс.

— Каким это образом?

— Неужели непонятно? Мы имеем откровенно политическую игру. Честный, но наивный идеалист, пытается совершить переворот — как оказалось,

только для того, чтобы этот переворот был подавлен в самом зародыше администрацией, имеющей многолетний опыт в делах подобного рода.

— Хочешь, чтобы мы оставили все на совести Пилата и вздохнули с облегчением?

— А почему нет?

Прежде чем ответить, я встал и подошел к окну. Там, за окном, город был тих и спокоен — серый и утомленный полуденной жарой.

— Уж больно гладко у него все это выходит, Ник. Поэтому и вызывает слишком много вопросов, — выразил я свои сомнения и свое несогласие с Ником.

— Бывает работа и поприятнее, конечно. Но только не с Пилатом. Однако, в сравнении с его обычными ухищрениями, на этот раз — явный шедевр.

С полдюжины коршунов плавно парили над храмовым рынком. Над резиденцией губернатора, в усталом воздухе, лениво и самонадеянно болтался имперский флаг. Бог был у Себя на небесах, как и положено, да и вообще, все было правильно с этим миром. Ну а если естественный ход событий иногда вынуждает вас воспользоваться таким крохотным, вполне безобидным лицемерием — ну, там, подтасовать свидетельские показания, чтобы обеспечить смертный приговор невинному человеку, — что ж, разве не общеизвестно, что наш мир далек, ой, как далек, от совершенства!

И я произнес в унисон своим мыслям:

— Шедевр дипломатического убийства.

— Никто не спорит, Касс, — отозвался за моей спиной Каппер. — Я согласен. Это грязное дело.

Я повернулся и встретился с ним взглядом.

— Но ведь оно не должно выглядеть грязным завтра вечером, в нашей телепередаче, разве не так?

А для этого нужно успеть все переделать, отполировать, привести в порядок, чтобы преподнести зрителю, не уронив марки нашей корпорации. Но тогда это будет уже не убийство, Ник. Тогда это будет выглядеть как необходимый акт в защиту государства. Суровый, конечно. Даже прискорбный. Но — справедливый! Он приподнял брови:

— В чем дело, Касс? С чего вдруг такая повышенная чувствительность? Мне не нравится ни то, что они тут натворили, ни каким образом они это сделали. Но дело сделано — плохо ли, хорошо ли, но сделано. На мой взгляд, у нас просто нет иного выхода, кроме как поддержать их.

Несмотря на охлаждаемый кондиционером воздух, в комнате ощущался какой-то застоявшийся запах. У меня разболелась голова, да и вообще, я устал. Весь мой опыт подсказывал, что Каппер прав. Единственное, что нам оставалось сделать, так это скомпоновать все в небольшой, основанный на фактах, аккуратненький репортаж, который удовлетворил бы Патроса, поддержал, насколько это возможно, Пилата и оставил довольными иудейские религиозные власти.

В техническом плане проблем не было. Сам фильм и запись можно было отредактировать, чтобы свести на нет нервозность и неуверенность в голосе Пилата, а также благоприятно истолковать несчастный вид Никодима. Толика искусных манипуляций со сценарием, и я заставил бы все это прозвучать просто превосходно.

Но что-то в глубине моей души настойчиво убеждало меня, что это неправильно. Мне вспомнился один эпизод с Давидсоном, снятый общим планом в короткометражке, которую Каппер прокручивал мне накануне. Эта одинокая фигура в центре лику-

ющей толпы... Давидсон был окружен толпой и, в то же время, он выглядел обособленным от нее. И я снова увидел хитрые, испуганные глазки Пилата, умолявшие меня не давить на него так жестко перед камерой. Возможно, все они были правы в отношении Давидсона. Возможно, он стал крайне опасным, чтобы оставлять его в живых. Я об этом не знал, да это и не особенно меня заботило. Но я уже знал, что они опутали его сетями правовых ухищрений, в стремительном темпе протащили через судебные издевательства и скоренько — ну просто очень поспешно! — вздернули, прежде чем кто-либо получил возможность заявить протест. Меня совершенно не волновало, кто он был — еретик, бунтарь, религиозный маньяк. Но я стал бы презирать себя, если бы позволил им выйти сухими из воды после этого узаконенного убийства, не заставив их, по крайней мере, взмокнуть от страха.

Поэтому я сказал:

— Извини, Ник, но так не пойдет.

— Вижу, — сказал он зловеще спокойным голосом. — Могу я спросить, что ты предлагаешь в качестве альтернативы?

— Еще не знаю. Я хочу кое-что предпринять. Покопаться немного глубже в этом вопросе. Найти, если удастся, кого-то из друзей Давидсона и выслушать их версию этой истории.

— И что хорошего это даст, как ты думаешь?

— Ну, на худой конец, мы смогли бы узнать истинную причину его казни.

— Я могу сказать это сейчас и сэкономить тебе время и силы. А также избавить от лишних хлопот. Он был казнен за измену.

— Официально — да, — согласился я. — Но ты

знаешь не хуже меня, что есть что-то посерьезнее этого. Весомее.

— Если и есть, мы не можем этого касаться.

— Почему?

— Потому что это будет уже религия!

— Ну и? — я удивленно пожал плечами.

Каппер резко наклонился ко мне:

— Ради Бога, Касс. Не вынуждай меня напоминать об официальной политике корпорации. Религия категорически исключается. Экран не переносит ее, за исключением мизерных, хорошо дозированных, всем понятных и потому пригодных для показа материалов. А об иудейской религии речи вообще не может быть. Эта мистика о Мессии крайне опасна! Она сломала Пилата, убила Давидсона и дюжину других до него. Если ты позволишь впутать себя в это дело, она прихлопнет и тебя.

Я сказал с напускнутой бравадой, которой, честно говоря, не испытывал:

— Если есть хоть один шанс, я должен его использовать.

Он недоверчиво посмотрел на меня:

— Ты серьезно?

— А почему бы и нет?

— Ты хочешь сказать, что готов рисковать своей профессиональной репутацией из-за какой-то неправдоподобной истории о воскресении человека, которого ты никогда прежде в глаза не видывал?

— До этого не дойдет, — ухмыльнулся я. — Просто я хочу предложить чуточку честной игры. И все.

Он в раздражении замотал головой:

— Слушай сюда! Разве не предупреждал тебя Патрос, что эта штука, по сути, политический динамит? Стоит кому-нибудь сделать один неверный шаг —

и вся страна полыхнет огнем, — он наклонился ко мне, упершись ладонями в стол. — Как только, тем утром, до меня дошел этот слух о воскресении, я понял, что мы должны действовать оперативно. Поэтому я и бросился звонить в Рим. Я знал, как короток фитиль и как быстро он догорит. Когда же я услышал, что Патрос посылает тебя, я обрадовался, потому что был уверен: с тобой-то уж мы не упустим свой шанс. Касс Теннел, — подумал я, — о, он знает, как обделывать такие делишки. Как моментально соткать из разрозненных нитей приличный материал и быстренько разделаться со всей этой чепухой о мертвце, вернувшемся к жизни! — он искоса взглянул на меня. — Потому что именно этого мы от тебя ждали, Касс. И ждем. И Патрос, и парни из МИДа, и я. Отточенного, без изъяна — и без истерии — репортажа, который прольет свет на всю эту историю и поможет сбить накал политических страстей.

Он откинулся на спинку кресла, вытянул руки ладонями вверх — в каком-то странном, призывном жесте — и продолжил:

— И мы все это уже сделали, черт тебя побери! Все это уже есть — на этих самых записях, которые мы только что прослушали. Более чем очевидная констатация фактов государством, церковью, армией — всеми ответственными людьми. Все, что тебе осталось сделать, это скомпоновать материал, чуть приправить его местным колоритом и — дело в шляпе!

Он нахохлился, его рот кривился от возмущения:

— И тут вдруг оказывается, что все это Теннелу не подходит... Это, видите ли, не для Касса Теннела — триумфатора в заведомо проигранных делах! Защитника униженных и оскорбленных, страдающего завышенным критерием совести. Он хочет, понимаешь

ли, копать глубже! Перелопатить горы полусырого, суеверного хлама, который никто, по здравом рассуждении, не воспринимает всерьез. После чего сесть, завтра вечером, перед камерой и лопотать на весь мир об исчезнувших трупах и пустых могилах и о людях, бродящих вокруг того места, где они были похоронены три дня назад.

— Постой, Ник, погоди минутку, — я едва успел вклиниться в его тираду. — Я ведь не говорю...

— Нет! — рявкнул он. — И не скажешь! Во всяком случае, в моей программе.

— Но это и моя программа, ты же понимаешь, — сказал я, стараясь придать голосу мягкость.

— Понима-а-аю, — раскланялся он. — Ты — Большой Мастер, как же! Ты стоишь перед камерой и пожинаешь всю славу. Но я — продюсер, и это я тащу весь воз! Если на фондовой бирже почва начнет уходить из-под ног, а банки залихорадит бум возврата вкладов только из-за того, что ты предпочел отнестись к слухам так, как если бы они были состоявшимся фактом, то не на твою, а на мою голову обрушится ярость Патроса!

Я пожал плечами и вернулся к окну. Высоко над городом пара истребителей вычерчивала в небе замысловатые фигуры.

Позади меня предупредительно откашлялся Грег.

— Нельзя, конечно, судить обо всем по одной вещи, попавшей на экран, — продолжал Каппер, — но мы несем, да, несем, определенную ответственность перед зрителями. Я хочу сказать, что мы обязаны предоставлять им возможность отличать научную фантастику от документального фильма.

— Терпеть не могу доказывать очевидное, — сказал я, — но могила — пуста, и тело — исчезло.

— И что из этого?

Я повернулся и посмотрел на него:

— Полагаю, мы обязаны сказать им об этом. Какой бы точки зрения мы ни придерживались, но осветить это завтра вечером мы должны.

Каппер вздохнул:

— О чем разговор! Тут и вовсе никаких проблем. Тело украли, и не исключено, что сделали это именно его ученики.

— Но тогда почему об этом не сказать? Пилат и Каиафа, почему они не публикуют результаты официального следствия?

— Они их опубликуют, Касс, опубликуют. Дай им только время. Весьма вероятно, что они над этим сейчас и пыхтят. Ты вспомни: у могилы была охрана. Гвардейцы из иудейской армии. И вот тому, *как* могло быть украдено тело, они просто обязаны найти мало-мальски приемлемое объяснение, чтобы не сделать армию предметом насмешек в каждой солдатской столовой, начиная от здешних мест и до Британии.

Тут он попал в самую точку. Только этим можно было объяснить сердитую скрытность Санбаллета, ну и, в какой-то степени, нервозность Пилата. Но у меня все не выходил из головы Никодим: там, в саду, расстроенный и угнетенный, он не показался мне человеком, очень уж обеспокоенным репутацией армии.

— Может быть, ты и прав, — задумчиво сказал я. — Звучит вполне логично. Но я все же не удовлетворен. Что-то тут не так. Что-то они пытаются скрыть, потому что это их пугает. И я бы очень хотел узнать, что это такое, прежде чем успею скомпрометировать себя поддержкой Пилата.

В глазах Каппера блеснуло раздражение.

— Я же тебе сказал, оставь это в покое. Если ты собираешься сунуть свой нос в это дело, то превратишь этим плохую работу в ужасную.

— Мне очень жаль, Ник.

— Ну да, конечно, — сказал он мрачно, — это все предполагает возвышенные чувства, не так ли?

— Если мне будет позволено, я сделаю одно маленькое замечание.

Мы совсем забыли о Греге и теперь, разом повернувшись, воззрились на него. Развалившись в кресле, он виновато улыбался.

— Вместо того чтобы бегать по кругу, пытаясь куснуть друг друга за хвост, может быть, придумаем что-нибудь конструктивное?

— Например?

Он развел руками, глядя на нас невинными глазами:

— Ну, скажем, найдем тело Давидсона. Не слабо?

Каппер изумленно вытаращился на него, затем сказал:

— Точно. Парень прав, Касс. Найди тело. Это же сам собой напрашивающийся шаг.

— Мысль, что надо, — с напускной скромностью согласился Грег и добавил: — Такие мысли посещают меня время от времени.

— Да, это мысль, — сказал я. — А с чего ты предлагаешь начать наши поиски?

— Пожалуй, тут я вам помогу, — сказал Каппер. — У меня в городе есть пару знакомых...

Телефонный звонок прервал его.

— Каппер слушает... Кто? Да. Да, он здесь, — он протянул мне трубку: — Тебя.

— Теннел, — сказал я.

— Ты тот парень с телевидения? — Голос был мрачный и хриплый, а тон — уверенный и безапелляционный.

— Да.

— Ищешь Иисуса Давидсона?

— Да, я...

— И как? Уже нашел?

— Послушайте, — сказал я. — Кто вы?

— Никаких имен, никаких вопросов. Лады?

— Лады. Но...

— Не пробовал говорить с Никодимом?

— Я говорил с ним.

— Выудил что-нибудь?

— Не так много, чтобы хвастаться.

— Ага, — сказал он. — И не выйдет, дружище. Только не с ним. Этот Никодим — настоящий старый чемодан, перетянутый ремнями.

— Чемодан с ремнями?

— Ну да. Битком набит, но ничто из него не выпадет — ремни не позволят. Никогда не рискует. Ну да ты сам видел.

— Видел.

— Хотел бы ты поговорить именно с теми, кто тебе нужен, дружище?

— С кем, например?

— Ну, скажем, с Магдалиной.

— С кем?

— С Мариам Магдалиной, дружище. Она одна из тех, кто в курсе.

— А где я найду?.. — Но он уже отключился, и мой вопрос остался без ответа.

— Кто это был? — спросил Каппер.

— Постоянный Зритель, собственной персоной. — Я постучал по рычагу телефона и вызвал ком-

мутатор: — Этот звонок, я только что разговаривал... Не могли бы вы уточнить, откуда он был? Пожалуйста... Благодарю. — Я положил трубку. — Она сейчас попытается выяснить.

— Что-то заслуживающее выяснения?

— Не знаю, вполне возможно. Кто такая Магдалина?

Каппер бросил на меня быстрый взгляд:

— Мариам Магдалина?

— Знаешь ее?

— Да, слышан. А что?

— Наш анонимный друг сказал, что она может сообщить, где найти Давидсона.

— Имеешь в виду — тело?

— Не тело. Самого человека.

— И Магдалина это может? — ухмыльнулся

Каппер.

— Это то, что он сказал.

— Он тебе сказал, кто она?

— Нет, а что?

— Она танцовщица в кабаре — исполнительница танца живота.

— Получите удовольствие, — закатил глаза Грег, рассыпаясь в воздушных поцелуях.

— Во всяком случае, — сказал Каппер, — она ею была. Работала в одном из кабаре здесь, в Старом Квартале.

— Между прочим, прекрасная работенка, — заметил Грег.

— Армейские парни придерживались того же мнения. Ну и туристы, естественно.

— Да, уж будьте уверены, — авторитетно поддакнул Грег.

— Многие придерживались иного мнения. Это

ведь высоко религиозное общество, не забывайте. Синедрион неодобрительно смотрит на молодую женщину, которая зарабатывает себе на жизнь вращением таза на публике.

— Ты говоришь, она была танцовщицей? — спросил я. — Означает ли это, что она оставила свое занятие?

Каппер согласно кивнул:

— Она исчезла около года назад, я так полагаю. Неделю она была здесь, приводя парней в глубочайший трепет. А потом исчезла. — Он передернул плечами. — Всякие слухи тогда ходили, конечно. Говорили, что умерла. А также, что ей предложил контракт один из ведущих клубов Александрии, очень популярный. Был даже слух, что она вступила в религиозный орден.

— Но фактов нет?

— Ни единого.

— С тех самых пор?

— Ничего, ноль.

— М-да, — сказал я. — Что ж, похоже, что она вернулась в город. Тот телефонный тип, кажется, хорошо осведомлен.

— Если это так, то она не танцует, — сказал Каппер. — Иначе мы бы сразу узнали об этом.

— Не обязательно, — возразил я. — Танцовщиц живота здесь хоть пруд пруди.

— Но не такого класса, как она. Она была чем-то особенным. Мы бы тут же услышали, если бы она вернулась к выступлениям. — Он с сомнением посмотрел на меня. — Должен сказать тебе, Касс, она мне кажется многообещающим источником информации о Давидсоне. Особенно, если он, как ты склонен предполагать, действительно фигура религиозная.

— Я в этом не сомневаюсь. Правда, мы уже опрашивали нескольких очевидцев, но так ничего и не выяснили. Думаю, нам нужно связаться с госпожой Магдалиной.

— Я двумя руками за, — сказал Грег. — С превеликим удовольствием.

Каппер поджал губы:

— Попытаться-то стоит, я согласен. Но загвоздка в том, как ее найти. Он не сообщил тебе ее адрес?

— Нет.

Снова зазвонил телефон.

— Позволь мне? — я поднял трубку. Девушка на коммутаторе извинилась: они проследили вызов: — звонили из Иерихона, из телефонной будки. Что, в общем-то, меня не удивило. Меня, но не Каппера.

— Иерихон? — переспросил он. — Это интересно.

— Интересно?

— Слушай, Касс, Давидсона великолепно принимали в Иерихоне. Он был там менее месяца назад, и люди буквально носили его на руках. Ликующие толпы на улицах, официальное приветствие самого мэра — словом, полнейший триумф!

— Какие-нибудь особые причины?

— Да нет. Право, нет, — он пожал плечами. — Просто они провинциалы — экзальтированные, непосредственные и изнывающие от скуки и безысходности. Средний уровень жизни ниже уровня моря, и дышат воздухом, на три четверти состоящим из чистой серы. Но как бы там ни было, а город этот был у него в кармане. Пока не...

— Ну-ну?

Каппер покачал головой:

— Он был необыкновенный человек. Всякий раз он собирает вокруг себя толпы народа. Появляется из

ниоткуда и начинает говорить. Бог знает, откуда он черпал свои идеи, но они у него были неординарными. Никак не ординарными. И, что главное, он мог донести их до сознания людей. Десять минут его выступления перед толпой — и они уже едят с его рук. Он мог повести их за собой, полностью овладев их умами. Мог потенциально — но дальше этого дело не шло. В тот момент, когда все уверены, что никакая сила уже не в состоянии его остановить, он исчезает. Как бы свертывается и уходит, оставляя их парящими на облаках иллюзий. Причем все это, и еще кое-что, он проделывал совершенно бестолково. Допускал мелкие, необдуманные действия, которые могли настроить их против него. Это же происходило и в Иерихоне. Он появился там в полдень, а вскоре после полудня это был его город! Он мог бы просить все что угодно — и ему было бы дано все. Все, что имеется у человека. Но вместо этого он выбрал среди горожан наименее достойных и уважаемых граждан и пригласил их пообедать с ним. Повернулся спиной к толпе, с пренебрежением отнесся к отцам города, да еще и ушел рука об руку с Закхеем.

— Закхеем?

Каппер кивнул:

— Местный узаконенный рэкетир. Руководит налоговой инспекцией в Иерихоне. Все его ненавидят. Он их годами обирает. Живет, как король, и сорит деньгами направо и налево. А это их деньги, и они знают, что это их деньги, но ничего с ним поделать не могут.

— И Давидсон остановился у него в доме?

— Да. А почему — только Богу известно. Даже если бы он угробил целый год на поиски, он не смог бы найти в Иерихоне менее подходящего человека для

дружеских отношений. — Ник развел руками. — И это был не первый случай, когда он так нелепо вел себя на глазах у народа. Возможно, он ничего не смыслил в людях. Совершенный профан, не разбирающийся в человеческих душах. Довольно серьезный недостаток для такого человека. И губительный одновременно. — Он в задумчивости потер пальцем переносицу. — Этот парень, что звонил только что, голос у него был гортанный? Низкий такой, с хрипотцой?

— Да, похоже, такой.

— Интересно, однако. А он не называл тебя «дружище»?

— Называл.

Каппер кивнул:

— Это пока еще только предположение, но, скорее всего, это он. — Каппер взглянул на свои часы. — Почему бы вам с Грегом не съездить в Иерихон и не нагрянуть к нему. Я разужнаю адрес. Может быть, с глазу на глаз, он будет более общительным. Я же тем временем уточню кое-что в этой истории. Поглядим, не сможем ли мы выйти на эту девушку, Магдалину.

Я, должно быть, выглядел немного сбитым с толку, потому что он засмеялся и проворно вскочил на ноги.

— Не смотри так растерянно, Касс. Раз уж мы взялись, доберемся и до этого.

Меня не волновало, доберемся мы до этого или нет. Меня волновало другое: что нас ждет, после того как мы до этого доберемся.

На экране монитора сад Дворца Его Преосвященства являл собой настоящий шедевр садового искусства: деревья образовывали одно обрамление внутри другого, в солнечных лучах плескался фонтан — но это был всего лишь «задник». Первым планом на пленке шла не очень внушительная, но впечатляющая фигура Якоба Никодима. Впечатляющая даже в финале интервью, когда он устремился на камеру хохлатой, разгневанной птицей: его лицо расплылось, когда он подошел совсем близко к объективу, точно так же «поплыли» и темные габариты фигуры, заполнив весь кадр и заслонив сад, фонтан и солнце.

— Благодарю вас, равви. Я вам очень и очень благодарен.

Я выслушал свои слова на пленке, завязавшие последний гордиев узел в этом интервью, и обратился к камере номер один:

«Мессия не может умереть. Мессия — победитель смерти». Это слова одного из членов Синедрина — ученого человека, высокообразованного специалиста в области иудейской теологии. Смерть Давидсона в полдень в прошлую пятницу исключает, для него по крайней мере, всякое предположение, будто тот был Мессией. Ну а что же простые люди? Они тоже воспринимают факт его смерти как закономерный финал?»

В некоторые массовые сцены на улицах Каппер привнес ощущение тревожного ожидания, прорывавшегося с удивительной силой даже в миниатюрных черно-белых зарисовках.

«Через три дня после его смерти улицы запружены людьми. Почему? Чего они ждут? И кого они ожидают увидеть?»

Меня вернули в камеру, и я вполоборота повернулся к огромной панораме города за моей спиной:

«Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы занялись поисками друзей Давидсона — тех немногих простых граждан Иерусалима, мужчин и женщин, живущих в лабиринтах этих узких улочек, которые знали его достаточно хорошо, чтобы делить с ним пищу, а когда это было необходимо, то и собственный кров.

Эти поиски оказались нелегким делом. Люди, близкие к нему, такие как Петр Ионсон и братья Зеведеи, ушли в подполье. У власти нет никаких шансов найти и схватить их, а потому за их поимку назначена награда. Никто не видел их с полудня пятницы. Строгая позиция, занятая генерал-губернатором, и отказ иудейских руководителей от комментариев, делает людей неразговорчивыми, особенно с иностранцами. Долгое время мы не могли выйти на след тех, кого искали. И все же мы их нашли, но случилось это не в Иерусалиме. Это произошло в Иерихоне».

Дорога в Иерихон принесла столько волнующих переживаний, что вряд ли я смогу ее скоро забыть.

Правда, первые несколько километров были ничем не примечательны. Дорога упорно взбиралась по склону холма, убегая вверх, сквозь пыльные оливковые рощицы, к Вифании. Несмотря на свое романтическое название — Дом Песни, — Вифания едва ли была местом, способным вызвать восхищение — захудалое, обсиженное мухами селение. Домишки, вразнобой выстроившиеся по обочинам дороги. С глинобитных стен хлопьями опадала штукатурка, на плоских кровлях то ли сушилась, то ли разлагалась фруктовая падалица из местных садов. Но сама природа вокруг была великолепна!

За Вифанией дорога резко вильнула в сторону и начала отсчет долгому, извилистому спуску по бесплодным холмам к долине Мертвого моря, видневшейся далеко внизу. Это было похоже на езду по крыше, раскинувшейся над миром. Позади остались дома, трава и деревья — непременные атрибуты обитаемой земли. Впереди перед нами простиралась безлюдная пустошь.

Безбрежность панорамы придавала пейзажу потрясающую величественность! Мы смотрели через ветровое стекло нашей машины на гигантскую разрушенную кручу, усыпанную щебнем, которая круто, километр за километром, устремлялась вниз, чтобы окунуться, наконец, в парилку нижайшей на земле долины. Ни трава, ни деревья там не росли. Только разрушенные скальные породы да мертвый лес телеграфных столбов, карабкавшихся нам навстречу.

Здесь пролегал водораздел иудейской истории. Через эту безжизненную местность шла армия Иисуса Навина — изможденная, но закаленная годами жизни в пустыне, запорошенная пылью рухнувших

стен Иерихона и вдохновляемая религиозным стимулом заслужить благоволение своего вновь обретенного Бога. Солнечный луч, что мирно поблескивал на лобовом стекле нашего автомобиля, в то время как мы вписывались в очередной крутой поворот дороги, взрывался тысячами бликов на их копьях, а шлейф пыли, тянувшийся за нами, напоминал то самое облако, за которым они шли строем с Ковчегом Завета на плечах. Люди из оливковых рощ там, наверху, увидевшие, как они появились из жерла теснины, должно быть, приняли их за бесов из преисподней.

Горы Моава, удивительно близкие, отливающие золотом в мерцающем свете, высились над нами, вершинами соприкасаясь с небом. Где-то здесь, в каком-то забытом ущелье, известном только горным орлам, упокоились их первые вожди в безымянных могилах. Моисей, выведший их из Египта, сотворил из толпы перепуганных рабов народ и дал ему не только Закон, но также и мечту о Боге. Мечту, которая взрастила Давида, Илию, пророка Исаию, мечту, которую не смог сломить Вавилон, да и Рим не сумел. Мечта о священной свободе, которая не давала покоя таким людям, как Никодим, вошла в сердце сына сельского плотника и сгубила его.

Но сгубила ли? Или она, наконец, нашла в нем того, кто смог ее осуществить?

Мы сидели молча, наблюдая за медленно возрастающими, мрачными, как вода в долине под нами, тенями. Вздымающиеся стены гор, казалось, подались внутрь, спрессовывая утомленный воздух. Я смотрел на стрелки приборов, нервно подрагивающие на щитовой панели, и попытался сосредоточиться на вопросах, которые собирался задать За-

кхею из Иерихона. Но безжизненность окружающего ландшафта коснулась и меня. Мои мысли блуждали, как дым, — неуловимые, иллюзорные, лишённые формы и содержания. Я вспомнил об Орфее и его отчаянном путешествии в подземный мир. Возможно, у подножия такого же склона и был Аид, где он разыскивал свою любимую, чтобы вернуть ее к жизни. Но, несмотря на его отчаянную смелость и неповторимое очарование его музыки, воскрешения ее не произошло...

Я смотрел отснятые Греггом кадры Иерихона, ожидая от ассистента режиссера сигнала о моем вступлении. Камера странствовала по Улице Солнца, широкой главной авеню, которая проходит через центр современного города — от руин древней крепости, рухнувшей при Иисусе Навине, до Иорданского моста. Улица была обсажена деревьями, создававшими хоть какую-то тень, и украшена несколькими впечатляющими общественными зданиями. На городской площади была разбита цветочная клумба, а рядом с нею струился необычайно красивый фонтан. На экране все выглядело масштабно и умиротворенно, но я хорошо помнил то пекло — жар, исходивший от земли даже в тени, запах серы в воздухе и острый привкус соли на губах, от которого вода становилась соленой, а пища безвкусной. Соляной и серный запахи, плывшие по улицам от Оловянного озера, и мухи. От мух было тошно в Иерусалиме. Но здесь, в Иерихоне, они были во сто крат омерзительнее. Огромные и тяжеловесные, да еще и медлительные до отвращения, они ползали по продуктам, жадно облепляли глаза детей, а встревоженные, поднимались ленивым гудящим облаком.

Ассистент подал сигнал — мне говорить.

«Отсюда, всего три недели назад, Иисус Давидсон отправился, как потом выяснилось, в свой последний поход в Иерусалим. Поход, закончившийся, как мы знаем, трагедией. Но начинался он триумфально. Жители Иерихона выстраивались на улицах, вот под этими деревьями, чтобы только увидеть его. Они ликовали и воздавали хвалу человеку, в которого поверили как в пророка, освободителя и долгожданного вождя простых людей».

Множество народа было на улицах и когда мы въезжали в город. Полуденная сиеста закончилась, магазины уже работали. Сейчас, глядя на экран, нетрудно было представить себе то недавнее событие: ликующие толпы приветствуют современного Орфея, чьи слова потрясли их и зародили надежду, Орфея, отправлявшегося в свое долгое путешествие через эту страшную долину к возвышенностям столицы.

«Среди них был и человек по имени Закхей. Господин Регем Закхей, глава налогового департамента Иерихона».

Его лицо появилось на экране крупным планом, мгновенно вызвав неприятный отклик. Это было на удивление уродливое лицо, покрытое оспинами и шрамами. Бугристая кожа туго обтягивала скулы и жирными складками свободно покоилась на толстых щеках и двойном подбородке. Над большим ртом, окаймленным седыми усами, агрессивно нависал огромный нос. Кустистые черные брови срослись в одну сплошную линию, протянувшуюся через лоб.

У него были всклокоченные волосы, сердито торчащие не только из черепа, но также из ушей и ноздрей. Его лицо казалось карикатурной, утрированной маской самодовольства и коварства — но лишь до тех пор, пока вы не видели его глаз. А они у него были огромными и лучистыми, бархатно-зелеными — такими же нетерпеливыми, как глаза ребенка. Да и в поведении его было что-то от ребенка, возможно, такое впечатление создавала его наивная возбужденность, которая незамедлительно передавалась и вам, даже с экрана. Казалось, внутри этой телесной массы царил мир музыки и смеха — чистый, песенный мир, мир, полный любви и безграничной свободы.

Мы снимали наше интервью с Закхеем в его доме на Яшер-стрит. Когда мы подъехали, у дома стоял огромный фургон для перевозки мебели, и нам пришлось ждать, пока трое мужчин в фартуках из мешковины тащили вниз по ступеням крыльца пианино и потом грузили его в фургон. Дом был сплошным великолепием огней. Мы проследовали по тропинке под гирляндами фонарей и вошли в парадные двери. В холле стояли открытые упаковочные ящики, и двое грузчиков двигали на нас сервант. Кто-то наверху лестницы выкрикивал команды, со стороны одной из спален доносился шум передвигаемой мебели.

Из комнаты, справа от нас, вышел мужчина.

— Господин Закхей? — спросил я.

— Собственной персоной, дружище. За постельными принадлежностями?

— Мы из ...

— Проходите сюда. Все готово и ждет вас.

Человек на лестнице закричал вниз:

— Что будем делать с ковром на лестничной площадке?

— Сворачивайте. И войлочный внизу. Грузите все вместе с другими вещами.

Закхей усмехнулся в нашу сторону, потирая руки:

— Все нужно вывезти. Хозяин покидает город. Я звонил заведующей хозяйством в детской больнице. Она будет ждать вас сегодня вечером с одеялами и всем прочим.

Его голос звучал так же хрипло и гортанно, как и по телефону в офисе у Каппера.

— Господин Закхей, — сказал я, — думаю, мы должны объяснить...

— Какие проблемы, дружище? Загвоздка с транспортом?

— Да нет, нет. Но... — я беспомощно умолк, так как из комнаты напротив выскочил мужчина.

— Что насчет тех статуй, внутри?

— В машину, — сказал Закхей. — Их должны увезти в художественную галерею. И будь с ними поосторожнее, дружище. Там есть пара подлинных работ Праксителя. — Он подмигнул нам: — Дополнительный источник доходов, это самое, случайно приобрел три или четыре года назад. Сам-то их не люблю, прожить можно и без них. Но это — деньги, дружище. Хорошие деньги.

— Могли бы мы где-нибудь поговорить несколько минут?

— Поговорить? О чем?

— Иисус Давидсон.

На какой-то момент он смерил меня тяжелым взглядом, потом улыбнулся:

— Кажется, догадываюсь, кто ты. Сначала подумал, что видел тебя прежде. Ты тот парень, Теннел, по телефону?

Я кивнул:

— Вы звонили мне сегодня в полдень.

— И вы проследили звонок, а?

— Более или менее.

— Молодец, дружище. Люблю людей, это самое, с инициативой. Уже нашел Магдалину?

— Нет еще, — сказал я, — рассчитываю на вашу помощь.

— Может быть. Н-не знаю. Должен обмозговать. — Вниз по ступенькам шел мужчина со свернутым ковром, и мы прижались к стене, пропуская его. — Славная, это самое, вещичка, — сказал Закхей. — Персидский, конечно. Лучше уже не бывает.

— Вы переезжаете? — поинтересовался я.

— Тебе не нужно об этом напрягать мозги, дружище. Мы отправляемся на север, в Галилею, первой оказией утром.

— А все это?

— Все раздаю. Все до последнего колышка. Мебель, книги, ковры — много чего. Распределяем, это самое, по всему городу. Больницы, дом престарелых, школы — в общем, заведения такого рода.

Мы отошли в сторону, пропуская ореховый письменный стол внушительных габаритов.

— Для мэрии, — пояснил Закхей, — с моими пожеланиями. Я причинял им иногда тошнотворные головные боли, в прошлом. Это поможет как-то загладить некоторые из них. — Он ухмыльнулся и покачал головой: — Годы ушли на то, чтобы приобрести всю эту гору вещей. Все предметы самого высшего качества, понимаете ли. Никакого хлама. Никаких отбросов с аукциона. Каждая вещь — коллекционная. А теперь это все уйдет за один вечер. Что, думаешь, сумасшедший?

— Наш телефонный разговор...

Он поскреб в затылке:

— Да. Ну, что ж... Может, пройдем на кухню? Там, это самое, думаю, поспокойнее будет.

Здесь мы и сняли все интервью — в кухне, сидя на двух массивных стульях, под шумовые эффекты передвигаемой и кантуемой мебели.

И вот теперь я наблюдал на мониторе, как он отвечал на мои первые вопросы.

— Господин Закхей, это правда, что вы встречались с Иисусом Давидсоном?

— Совершенная правда.

— Следовательно, вы один из его людей?

Он улыбнулся, и удивительно спокойное выражение его глаз скрасило уродливость рта.

— В каком-то смысле да. Думаю, можно так сказать.

— Означает ли это, что вы верили в него?

— Конечно.

— Как в Сына Божьего?

— Конечно.

Ни секунды колебания. Никаких заученных, заранее подготовленных фраз. Он открыто и прямо смотрел в камеру и отвечал раскованно, с дерзкой непосредственностью. Мне казалось, будто я, пробуравив скальные пласты Пилата и Никодима, вдруг наткнулся на целебный источник.

— Почему? — спросил я. — Почему вы в него верите?

— Он освободил меня, — ответил он просто.

— От чего?

— От меня самого, — он произнес эти слова так, словно для него, сборщика налогов, обсуждать метафизические проблемы перед телевизионной камерой было самым обыденным делом.

— И как же он это сделал?

— Он простил меня! Встретил на улице и, приняв меня таким, как есть, простил мне все — кем и чем я был! — Он улыбнулся воспоминаниям. — Я влез на дерево. Я хотел увидеть его, когда он будет проходить здесь. Меня разбирало любопытство, понимаешь? Много чего слышал о нем. И хотел своими глазами его увидеть. Но меня не пропускали. Я не из тех, кого в этом городе любили. Да я и не настолько глуп, чтобы ожидать любви. Я ведь годами обирал их, причем не делал из этого секрета. Фактически, гордился даже. Начать с нуля и взобраться на самую вершину! Ого! Сделал большие деньги, но не нажил друзей. Так что как только они увидели, что это я, не сговариваясь, сбились в кучу и закрыли мне обзор... Вот тогда-то я и вскарабкался на дерево. И как раз вовремя. Он оказался аккурат подо мной. Гвалт там стоял, конечно, порядочный: одни его прославляли, другие орали на меня. Да так, что он поднял глаза посмотреть, в чем там дело. И когда увидел меня, сказал: «Ну что, Регем Закхей, не хотел бы ты пригласить меня к себе пообедать?» — И знаешь что, дружище? Это было первое доброе слово, с которым кто-то обратился ко мне за все эти проклятые сорок с лишним лет!

Я ободряюще кивнул. Не потому, что он нуждался в ободрении. Он столь же страстно желал говорить, сколь страстно не хотел это делать Санбаллет.

— Я прошел тяжелый путь, — сказал он, — предоставленный самому себе пяти лет от роду. Не было для меня колыбельных песен. Не было школы. Не было никого, кто бы замолвил за меня словечко. Я жил по одному правилу: сделай все сам. — Он покачал головой. — Я работал на Рим большую часть своей жизни, но я все тот же еврей, господин Теннел.

Сын Авраама. И мы, иудеи, имеем Закон: «Возлюби Бога твоего и ближнего твоего». Вот что говорит Закон. Конечно, мы не исполняем это. Мы только делаем вид, но не любим. Ну не по карману нам. Это же понятно, как дважды два. Ведь в человеке столько любви, что ее хватает лишь на себя самого и, наверное, на жену и детей. Можно конечно, это самое, приберечь немного любви для пары близких людей. Но не дальше этого. Не потому, что человек не хочет любить своего ближнего. А как раз потому, что не осмеливается, ибо боится, что ее не хватит на всех. Любовь — это роскошь, дружище. Я познал это очень рано, и познал очень хорошо.

Глаза на его уродливом лице излучали спокойствие и невозмутимость. Мысленно я перенесся к Патросу в Рим, очень желая, чтобы он это слышал. Я знал, как он относится к такого рода разговорам. Патрос любит действие. И если иногда соглашается влить в программу немного философии, то слышать ее желает от профессионала, а не от такого субъекта, как Реген Закхей.

— Священники говорят нам, что Закон дан Богом, — продолжал он. — Но если это так, то Бог тоже для нас роскошь. Он нам тоже не по карману. Вот поэтому мы и держим Его в Храме, как некоторые люди хранят сокровища искусства в музеях. Мы не можем позволить себе держать Его у себя дома. Все, что мы можем, — это иногда ходить в «музей» и смотреть на Него. Так вот, Иисус Давидсон — он это понимал. Он был беден всю жизнь. Начинал как плотник, а много ли зарабатываешь плотником? Никогда не имел своего дома. Имел один-единственный костюм. Ни машины, ни сбережений — ничего. Ничего. Тридцать три года прожить и не иметь в кармане ни гроша! — Он

с удивлением приподнял брови. — Не мог позволить себе даже пойти посмотреть на Бога в Храме — не мог собрать денег, чтобы заплатить за жертвоприношение, которое священники продают на рынке как входной билет. — Он весело улыбнулся мне. — Слышал об этом небось? Как он обошелся с менялами?

— Да, — подтвердил я.

Он закивал головой:

— Хотел бы я видеть это! Люди считают, это было то, что нужно. — Он наклонился вперед, вдруг серьезнев: — Такому человеку, — проникновенно сказал он, — такому человеку можно верить. Он был на самом деле одним из нас, понимаешь? Бог, которого священники продолжают проповедовать, был не для него. Спрятанный в Храме, доступный только при наличии «билета». «Это не дом Отца моего более» — вот что он сказал. — Закхей ткнул пальцем в камеру: — А знаешь, что случилось в прошлую пятницу, когда они повесили его? Огромная завеса в Святая святых в Храме разорвалась надвое — сверху донизу. Разошлась прямо посередине. А когда народ заглянул за нее — там ничего не оказалось! — Он оскаблился. — Что, разве такое не ошарашит, дружище? Все эти годы мы несли жертвоприношения, чтобы пройти внутрь и в благоговении поглазеть на завесу. Потому что священники уверяли, что за ней живет Бог. И все это время нас надували. Ничего там не было. Ни-че-го. Пустое место, пыль да паутина. И он знал об этом: «Царство моего Отца, — говорил он, — это все, что вокруг вас. В вашем городе. В вашем доме. В ваших сердцах. Вам не нужны деньги, чтобы попасть туда. На самом деле богачам, у которых много денег, будет трудно попасть туда. Все, что вам нужно, — это любовь!»

Он помолчал немного. Над нашими головами слышался шум передвигаемой мебели и гулкое топание ног по лестнице.

— Это единственное, что у него было, — пророчил он медленно. — Любовь. И вот ее-то он и дал мне.

Я очень живо представил себе эффект, который произведет это его заявление на телезрителей — среди них будут и богачи, и те, кто поклоняется Богу, живущему в храме. Кого только среди них не будет!

— Он разделил ее со мной, — продолжал между тем Закхей. — Сидел за моим столом и ел мою пищу, и дал мне любовь. Если ты действительно хочешь узнать человека, вот путь: вместе с ним сидеть за столом и есть одну с ним пищу. Вот это он и сделал, дружище. Это не Бог в Храме, дорогостоящий и недоступный. Когда он пришел, это был Бог в моем доме, ставший одним из нас, вверивший себя в наши руки как добрый друг.

Грег взял его крупным планом — с поблескивающими огоньками в темных глазах на улыбающемся лице.

— Вот это и есть любовь, — продолжал он, — довериться своему ближнему. Широко распахнуть свою душу перед ним, чтобы он проник туда, и раздарить все, что у тебя есть. Не только деньги. Все — мечты, надежды... Вещи, которые тебе дороги. Вещи, из-за которых ты, страдая, ночами не спишь. Ты открываешь двери и позволяешь ему войти и оглядеться. И ты во всем готов помочь. Вот так ты впускаешь его, дружище, и ты уже, фактически, в его власти. Как в той песне, помнишь, которая называется «Безоговорочная капитуляция».

— Несколько круто, не находите?

— Можешь считать это вздором, дружище, я вовсе не собираюсь тебя убеждать. Да, все это действительно противоречит всем нашим устоям. Это ведь, как если дать какому-нибудь типу заряженный пистолет и, распахнув мундир, побуждать его пальнуть разок. — Он усмехнулся, покачав головой. — И, самое удивительное, но именно так ты обретаешь свободу... Уже ничто не имеет значения, понимаешь? Ты перешагнул барьер и вырвался на простор. Впервые в своей жизни ты исполнился мужества взглянуть на себя, каков ты есть на самом деле. И это похоже на бегство из тюрьмы, дружище. Тебе не нужно больше притворяться. Не надо прятаться за забором, который ты возводил всю свою жизнь. Ты свободен.

Вот оно! Опять эта древняя мечта о свободе! Пилат и Никодим увидели ее в Иисусе Давидсоне и пришли в замешательство, их охватил страх. Регем Закхей, увидев то же самое, с готовностью эту мечту принял. Во всяком случае, для него она стала прекрасной, желанной реальностью.

— Господин Закхей, — сказал я, — что вы собираетесь делать с вашей свободой?

— Жить, — сказал он так, словно ответ был само собой разумеющимся. Как будто одним этим словом он объяснил подлинную цель нашего появления на свет. И я понял, что он использовал новый язык: язык религии, которая наполняет обыкновенные слова, такие как «любовь» и «свобода», абсолютно новым смыслом. В его лексиконе эти общеупотребительные слова, истрепанные и потускневшие в миллионах разговоров, обесцененные в судах и конторах, в магазинах, телепрограммах и на политических трибунах, превратились в особые символы — такие же таинственные, как слова и термины, используемые физи-

ками и математиками. Они блистали в его речи, как только что отчеканенные монеты, и было ясно, что для него они необычайно ценны и исполнены новым, будоражащим душу смыслом. Но каков был этот истинный смысл, определить было нелегко.

Я сказал:

— Как я понял, вы отдаете этот дом?

— Совершенно точно.

— Отдаете безвозмездно?

— Да.

— И мебель?

— Дом, мебель, счет в банке — все!

— Не слишком ли опрометчиво, господин Закхей?

— Я так не думаю. Нет.

— Но неужели ваш дом и...

— Он мне не нужен, дружище! Ни в чем этом я больше не нуждаюсь. Ведь это был я, понимаешь? Все это я соорудил для того, чтобы придать себе, это самое, значимость, важность. Это был мой ответ людям, которые совершили немало гадостей, чтобы удержать меня в сточной канаве. Но теперь — о, теперь это не имеет никакого значения. Мне не нужен дом, не нужны деньги, чтобы представлять из себя кого-то. Я есть личность, теперь уже в своем собственном убеждении. Я получил свободу, видишь? Совершенную и неограниченную. Вот то, что нужно каждому человеку. И в этом — все, дружище!

Манера, в которой он все это произнес, была поистине изумительной. И опасной. Я начал понимать смятение Пилата и Синедриона. Если Иисус Давидсон смог увлечь подобными идеями человека, такого как Закхей, то он был действительно личностью, за которой нужен глаз да глаз! Его нельзя было упускать

из виду ни на минуту и, как только подвернется возможность, заставить замолчать. Навсегда.

Я спросил его:

— И куда же вы теперь направляетесь?

— На север, — махнул он рукой, — увидеться с ним опять.

— С Давидсоном?

— Так точно.

— И что вы думаете делать, после того как встреча состоится?

— Без понятия, — весело сказал он. — Это ему решать.

— Господин Закхей, — осторожно начал я, — вы так говорите, будто совершенно уверены, что он — снова живой.

— Конечно! Все в полном порядке. Он жив. Никаких сомнений на этот счет. Совсем никаких!

Все это было, конечно, интересно, но не очень убедительно. Закхей верит в воскресение. Причем верит безоговорочно. Но свидетелем воскресения он не был. Во всяком случае, не в большей мере, чем я. Давидсон проявил к нему доброту вопреки общественному мнению. И сделал это публично, на глазах у всех. Понятно, что Закхей был готов ради него на все. Но если мы хотим убедить зрителей в том, что Давидсон ожил, нам требовалось нечто более существенное, чем преданность друга, какой бы искренней и самоотверженной она ни была. И тогда, во время интервью, я настаивал на фактах, но Закхей уклонился от ответа.

— Значит, вы верите в историю о том, что Давидсон воскрес? — спросил я. — Вы верите этому?

— Конечно, — ответил он.

Небрежная самоуверенность его ответа покориби-

ла меня. Я устал, а в кухне было душно. И я не был расположен потакать человеку, такому как Закхей.

— В этом вопросе не может быть никаких «конечно», — резко сказал я.

— Почему не может? Он же говорил, что воскреснет из мертвых, — и сделал это.

— Разве вы присутствовали при этом? Вы были там, когда это произошло?

— Нет.

— Но вы уже видели его после этого?

— Нет еще.

— Значит, это лишь слухи, — развел я руками.

В это время в комнате над нами раздался страшный грохот. Он усмехнулся и поднял голову.

— Это вывозят мою мебель, господин Теннел, — сказал он. — Вы считаете, я решил все это отдать на основании слухов?

— Ну хорошо, — сказал я. — В таком случае, очевидно, у вас есть некая секретная информация?

— Можете называть это так.

— Достоверная?

— Надежная, как банк, дружище.

— Кто вам ее предоставил?

— Магдалина.

— Вы имеете в виду девушку, бывшую одно время танцовщицей?

Он кивнул:

— Она звонила мне сегодня утром.

— И сообщила, что он жив?

— Да.

— И это вы называете надежным источником?! — удивился я. — Телефонный звонок от девушки из кабаре? Извините, господин Закхей, но вам стоило бы поискать кого-нибудь понадежнее.

Он пожал плечами:

— Хочешь верь, не хочешь — не верь, дружище.

— Но, послушайте, — воззвал я к нему, — не могу же я выйти завтра вечером в эфир и вот так, запросто, сообщить людям, что Иисус Давидсон живой, только потому, что вам об этом сообщила по телефону танцовщица из кабаре.

— Ну и что из того, что она танцовщица? — не понял он. — Она видела его и разговаривала с ним. Я думаю, это кое-что да значит.

— Видела его? — переспросил я. — Имеется в виду, сегодня утром?

Он кивнул:

— В пять часов или около этого. В саду, прямо у могилы.

— И вы утверждаете, что он разговаривал с ней?

— Точно. Передал ей сообщение для всех своих друзей. Он хочет встретиться с нами в Галилее.

— Господин Закхей, — сказал я, — мне необходимо увидеть эту девушку.

Он с сомнением посмотрел на меня:

— Не вижу смысла. Я ведь сказал, о чем она сообщила...

— Это слухи, — сказал я. — Этого недостаточно. Мне перед камерой нужен свидетель-очевидец.

— М-да, незадача, — сказал он. — Даже не знаю, господин Теннел.

— Она, конечно же, в Иерусалиме? — спросил я.

— Да. Они все еще там. Магдалина, и Петр Ионсон, и братья Зеведеи — все они там. Так-то вот, понимаете ли. Они затаились на время, и это правильно. Тяжело им будет, это самое, когда они попытаются пойти на север: и Синедрион, и полиция, и армия — все сбились с ног, чтобы их задержать.

Я бы не хотел что-то рассказывать перед камерой, чтобы не помешать им. — Он вдруг взглянул на меня с надеждой: — А ты не можешь, это самое, задержаться? Я имею в виду, после этой встречи на севере мы лучше будем знать обо всем. На следующей неделе, слушай. Это может быть...

— Слишком поздно, — перебил я его. — Передача выходит в эфир завтра вечером.

Он покачал головой:

— Не нравится мне все это, господин Теннел. Они верят мне, понимаешь? Я не стану их предавать...

Мне пришлось потратить еще минут десять, чтобы убедить его, что он никого не предаст. Но даже и тогда он был слишком осторожен. Взял с меня слово, что если даст адрес Магдалины, я не стану настаивать, чтобы она выступила перед камерой. Дальше я пообещал ему, что даже если она и согласится на интервью, я не раскрою, где она находится. И стоило мне дать ему слово, как он тут же полностью расслабился. Он начеркал адрес на листке бумаги и вручил его мне.

— Благодарю вас за доверие, — сказал я.

— Не надо благодарить меня, господин Теннел, — улыбнулся он. — Благодарю Иисуса Давидсона.

— Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали о ней, о Магдалине, — сказал я.

И после этого все пошло как по маслу.

В фургон уже грузили последние предметы обстановки, когда мы покидали его дом. Закхей вышел с нами к машине и стоял на тротуаре, пока мы рассаживались. Я опустил стекло и протянул ему руку:

— Ну что ж, пока, и спасибо за помощь.

— Ты надежно спрятал адрес?

Я утвердительно кивнул.

— Не забудь, дружище, это ее личное дело: говорить или не говорить.

— Заметано.

Он крепко пожал мне руку. Свет уличных фонарей безжалостно выпукло выхватил его лицо, изрытое оспой, и огромный, выступающий кряж носа.

— Шалом, — попрощался он.

— Шалом, дружище, — ответил я. — Живи так, чтобы вскарабкаться на как можно больше деревьев.

И тогда он от души рассмеялся. Добер выжал сцепление, и мы поехали, оставив его стоять — с опустевшим домом за спиной и отголоском звучного смеха на притихшей улице.

— Парень что надо! — сказал Грег.

— Да.

— Вот уж никогда не принял бы его за религиозного человека.

— Да уж, — согласился я и подумал, что нам, наверняка, придется пересмотреть наш взгляд на то, как должен выглядеть религиозный человек.

8

— О да, конечно, он жив! — убежденно, даже несколько дерзко проскрипел голос Закхея с экрана. — Никаких сомнений на этот счет! Совсем никаких.

Это был момент великой убежденности, столь же решительный, как росчерк пера под подписью. Самое время сделать паузу.

Я откинулся на спинку стула, как только изображение начало гаснуть и белая пятиконечная звезда взорвалась на экране, оповещая начало коммерческой рекламы. Предупреждающие красные огоньки заставки «идет запись» и «идет изображение» мигнули и исчезли. Одна из девушек прошла между камерами с чашкой кофе для меня. Я поднялся, потянулся и тихонько вышел из яркого света. Режиссер присоединился ко мне, и мы стояли вдвоем, потягивая горячий напиток.

— Пока что все замечательно, — сказал он.

И в этот момент, будто по сигналу, на столе зазвонил телефон. Я подошел и снял трубку, внутренне подготавливая себя к гневной тираде Патроса. Но это был всего лишь Ник Каппер, звонивший из продюсерской кабины.

— Все идет как нельзя лучше, Касс! — сказал он, и это было для меня действительно похвалой, принимая во внимание тот скептицизм, с которым он относился к этой истории. — Я тут заполучил кое-кого, кто поможет тебе поставить точку во всем этом деле.

На экране телевизора, крупным планом, парень с девушкой сплелись в неземном поцелуе под фонограмму мелодии на скрипке, из чего следовало умозаключение о необходимости полоскания рта. Я по-сигналил рукой, чтобы приглушили звук.

— Да? — спросил я. — Кто же это?

— Парня зовут Клеопа, — сказал Каппер. — Говорит, что Давидсон был у него дома прошлым вечером. Провел достаточно времени с ним.

— Стоящий?

— Думаю, да. Эдакий маленький бойкий человек. Честный до кончиков ногтей.

— Согласится стать перед камерой, как думаешь?
Каппер хихикнул:

— Ну, этот станет. Проблемой будет оттащить его потом от камеры. За последние четверть часа он здесь нам все уши прожужжал.

— Где он сейчас?

— В буфете. Мириам повела его туда попить чаю. Хочешь попробовать его?

— Не знаю, Ник. Придется импровизировать. Могут возникнуть непредвиденные сложности.

— Дело твое, Касс. Но прошлым вечером он не один общался с Девидсоном — с ним был еще один свидетель. Не думаю, что ты можешь позволить себе отмахнуться от этого парня.

— Это я понял, — сказал я, — но вопрос в том, как втиснуть его в рамки передачи.

— Придется что-то сокращать, конечно. Что там с этим парнем, водителем грузовика, как бишь его?

— Дидум.

— Да, он. Думаю, ты можешь выбросить его без видимого ущерба для сюжета. Все будет выглядеть гораздо определеннее, если его убрать.

Я смотрел на монитор и вспоминал. На экране показывали анимационный ролик, рекламирующий холодильники, — допотопный сюжет с маленькими злыми гномиками, облепившими устаревшую модель со шкалой настройки, установленной на «размораживание». Гномики включали свет в морозильнике и бухали ведрами воду на продуктовые полки. Было что-то патологическое в этой их безумной деятельности, но отнюдь не гномы заставили меня задуматься. Мне опять виделся грузовик, под завязку груженный лесом, и коренастая фигура Фомы Дидума в старых джинсах и кожаной куртке, отчаянно спорившего с охраной.

Было полдвенадцатого ночи воскресенья, когда мы у Гефсимании свернули с дороги на Вифанию и поехали вверх по отлогой круче по направлению к Дамасским воротам. Весь путь от Иерихона дорога была совершенно пустынной, но когда мы взобрались на возвышенность, нам показалось, что мы ненароком попали на съемочную площадку: нас ослепил яркий свет мощных дуговых ламп и дорогу перекрыл шлагбаум, установленный в самом, что ни на есть, неподходящем месте. У ворот расположились солдаты, вооруженные пулеметами и автоматами. Небольшая группа туристов сбилась в кучку в свете фар грузовика. Как только мы приблизились, из лагуги к шлагбауму вышел капрал и встал, с автоматом наизготовку, поджидая нас. Добер притормозил и остановился в эпицентре света.

— Документы, пожалуйста, — попросил капрал.

Я протянул наши паспорта и особые пропуска. Он, не спеша, проверил их и возвратил нам:

— Благодарю вас.

— А в чем дело? — спросил я.

— Обычные меры предосторожности.

— В связи с чем?

Он засмеялся, но его молодое лицо оставалось естественно бледным.

— Тревога. Что еще может быть? — яркий свет отражался на медной кокарде его фуражки и отливал холодным блеском на стволе автомата. — Уже возвращаетесь в студию, не так ли?

— Нет еще, — сказал я. — Сначала нам нужно кое-кого повидать здесь, в городе.

— Сожалею. Въезд в город запрещен до утра. Ни в город, ни из города. Распоряжение генерал-губернатора.

— Да, но послушайте, — запротестовал я, — это очень важно. Мы делаем передачу о событиях, связанных с Иисусом Давидсоном, и мы должны...

— А, — сказал он, — так, значит, вы не в курсе?

— Не в курсе чего?

— Комендантский час. Как я уже сказал, обычные меры предосторожности. Люди временами бывают излишне возбуждены. Совершают много глупостей. Вот и требуется присмотреть за ними. Защитить их, так сказать, от них самих.

Уголкем глаза я заметил еще двух солдат, занимавших позицию по другую сторону нашей машины. Это были два верзилы, и двигались они с какой-то небрежной, почти ленивой аккуратностью, которую я счел довольно угрожающей.

Грег тихо пробормотал:

— Десятый легион, Касс. От этих ребят ничего не добьешься.

Я знал, что он прав, но решил все же попробовать еще раз.

— Слушай, капрал, — сказал я, — ты же видел наши пропуска.

— Они в порядке. Мы были предупреждены, что вы подъедете где-то сегодня ночью.

— Это специальные пропуска, ты же знаешь.

— Все правильно.

— Тогда в чем дело?

Он покачал головой:

— Извините. Но вы не сможете въехать в город сегодня ночью.

Я посмотрел на столпившихся у грузовика людей и на отчетливые черные полосы, нарисованные на белой стене хижины.

— У вас там есть телефон?

Он кивнул.

— Не против, если я им воспользуюсь? Я хотел бы перекинуться парой слов со старшим офицером.

Капрал слегка вздрогнул:

— Не стал бы этого делать, будь я на вашем месте.

— И все же я хочу попытаться.

— Конечно. Не могу вам препятствовать. Но если последуете моему совету, вы...

— Благодарю вас, — сказал я и вышел из машины.

К стене хижины был прикреплен лист с телефонными номерами. Я дозвонился до казарм и попросил позвать главного офицера.

— Кто звонит? — голос у телефониста звучал настороженно.

Я назвал себя.

— Понял. Хорошо, я соединю вас с дежурным офицером.

— Нет, — сказал я. — Мне нужен...

Телефон громко затрещал, и я услышал зычный голос.

— Дежурный офицер слушает.

— Мое имя Теннел, — сказал я. — Я из спецбригады ИТ и ...

— Какой бригады?

— Имперского телевидения. Я бы хотел говорить с главным офицером.

— Полковником Масером? Вы хотите говорить с полковником?

— Да, хочу.

— Не может быть, — недоумение в его голосе превысило рамки вежливости, но никаких признаков паники.

— Может, — нетерпеливо сказал я. — И прямо сейчас.

Наступила небольшая пауза.

— А о чем речь, господин Теннел?

— Это чрезвычайно срочное дело.

— Да я тоже сильно на это надеюсь, мой дорогой. Кто же в здравом уме стал бы беспокоить Старика среди ночи по пустякам? Если только это не вооруженное восстание.

— Ну вот и соедините меня, — сказал я. — Всю ответственность я беру на себя.

— Надеюсь, старина. Но, знаешь, так просто не получится. Я должен тебя попросить быть немного конкретнее.

— Послушайте, — сказал я. — Мы находимся у блокпоста у Дамасских ворот, и мы хотим попасть в город. Это же просто, как день.

— Прост и ответ, старина. Нельзя.

— Это мне не подходит. Я должен попасть в город сегодня. Там находится человек, у которого я должен взять интервью. Безотлагательно.

— О? И кто же это? — его голос вдруг зазвучал оживленно и заинтересованно.

— Нет, — сказал я, памятуя слово, данное Заххею. — Этого я вам сказать не могу. Позвольте мне поговорить с полковником.

— Я выдам тебе один секрет, — сказал он. — Старик не любит телевидение. Он тебя живьем сожрет.

— Я попробую не упустить такой шанс, — сказал я.

— Извини, но боюсь, что ничем не смогу помочь.

— Имеете в виду, не соедините меня?

— Правильно, — сказал он вежливо. — Подожди до утра, старина. Ворота откроют в половине шестого.

— Тогда может быть уже слишком поздно, — сказал я. — Я же сказал, что это срочно.

— Мне очень жаль, приятель.

Я разыграл свой последний козырь:

— Сегодня утром я разговаривал с генерал-губернатором — кстати, он будет в моей передаче, — и встретил у него куда больше понимания, чем у вас. Странно, не правда ли?

Это его не впечатлило:

— Да, — невозмутимо переспросил он, — в самом деле?

Я положил трубку и обернулся. У двери хижины стоял капрал. Он приподнял брови:

— Без успеха?

— Без.

— Да, — сказал он, — иногда в этом мире трудно найти понимание.

Грег ожидал меня у шлагбаума:

— Не солоно хлебавши, как вижу?

Я кивнул:

— Даже слушать не захотел.

— Ну ладно, попытка — не пытка.

— Напомнишь мне послать солидное пожертвование в фонд пострадавших от дежурных офицеров.

— Будьте уверены, напомню, — ответил он.

Позади него, в причудливом свете прожекторов, вырисовывался анфас Дамасских ворот, обрамленных чугунными стойками. Где-то там, за ними, в лабиринте узких улочек, находилась наша единственная свидетельница. Но у меня не было надежды, что она все еще будет там утром, после комендантского часа, когда мы, наконец, доберемся до ее дома. Скорее всего, она будет уже на полпути к Назарету, и нам не удастся с ней поговорить до выхода передачи в эфир.

— А все Пилат и его панические меры, — вырвалось у меня с досадой. — К моменту открытия ворот

здесь столько людей соберется! Начнется настоящее столпотворение. В таком аду у нас не будет никакой надежды заметить ее, если она попытается выйти из города утром.

— Если у нее есть хоть капля разума — она растворится в гуще толпы и выскользнет незамеченной, — согласился Грег.

Он дал мне сигарету и чиркнул спичкой:

— Завтра опять будет долгий, нелегкий день, Касс.

Я согласно кивнул.

— Между прочим, — сказал Грег, — у нас для тебя есть небольшой утешительный приз. — Он показал в направлении грузовика. — Видишь того мужика, что разговаривает с Добером?

Я взглянул на коренастую, крепкую фигуру: потертые джинсы, широкое лицо, гладко зачесанные волосы.

— Выглядит не так, чтобы очень, правда? — спросил Грег. — Но он оказался для нас находкой!

— И кто же он?

— Прежде всего, его зовут Дидум. Фома Дидум. А это его грузовик, страдающий от избыточного веса, — пошутил Грег, намекая на вес груза в кузове машины. — Он столяр.

— Замечательно, — сказал я. — И чего вы ждете от меня? Ликования?

— Почему бы и нет? — сказал Грег. — Это один из парней Давидсона.

Энзимы скакали по экрану телевизора, дурача доверчивые души чудесными свойствами стирального порошка, способного сделать белье белее белого, а его хозяйку самой счастливой женщиной на свете.

— Ну и что ты об этом думаешь?

Я прикрыл глаза. Интервью с Фомой Дидумом странным образом расстроило мои планы. Капрал объяснил нам, как проехать к студии окольными путями, опоясывающими город, и мы уговорили Дидума поехать с нами. Перед камерой он оказался довольно разговорчивым. Но именно его заявления и привели меня в замешательство.

— Мне нечего скрывать, — говорил он. — Он мертвый, и все для меня закончилось.

Такое откровенное заявление, высказанное безжизненным голосом, потрясло меня. Как-никак, он был близким другом Давидсона, одним из одиннадцати, находившихся с ним с самого начала. Я полагал, что он будет неистово поддерживать версию воскресения. Но когда я сказал ему это, он даже головой замотал.

— Последние две недели было очень нелегко, — сказал он. — Чертовски нелегко. Огромная тяжесть давила на всех нас. Особенно на женщин. Они и так заботились обо всем. Когда людям в таком состоянии вбить что-то в голову, они поневоле в это поверят, и сами начнут распускать слухи.

— Вы считаете именно так? Слухи?

— Да. Принимают желаемое за действительное, — сказал он. — А я видел его мертвым. Вот так.

— А вы знаете, это как раз не женщины. Регем Захей из Иерихона убежден, что...

— Ну и пусть. А я не убежден, — упрямо перебил он меня. — Магдалина считает, что видела его сегодня утром. Обнимала его, как она утверждает. Разговаривала с ним и все такое. Вот когда такое случится со мной, вот тогда я поверю. Но до тех пор, пока не увижу его живым, пока сам не потрогаю его, чтобы убе-

диться, что это в самом деле он, а не привидение, — до тех пор я не верю никаким рассказам о человеке, который воскрес из мертвых.

— Но неужели вы не ожидали его воскресения? Я понимаю так, что он не однажды говорил вам, что восстанет из мертвых?

— Осмелюсь сказать, — болезненно поморщился он, напрягшись в студийном кресле и сдавив своими большими руками подлокотники. — Я не такой образованный, как ты, и все такое. Многие из того, что он говорил, было чересчур заумным и непонятным для меня.

— Но он ведь в самом деле так говорил? — я давил на него, желая, чтобы он ответил. — Он же говорил, что вернется?

— Да. Он говорил это.

— Но теперь вы не верите, что это случилось?

— Ну не по словам же Магдалины!

— Его могила пуста. Вам это, конечно, известно?

— Да.

— Было ли это похищением, как вы думаете?

Он нахмурился:

— Разве такое случается впервые?

— Тогда кому, по вашему мнению, понадобилось похищать тело?

— Не знаю, приятель, — его голос был вялым, безучастным. По всей видимости, все, что было для него важным, закончилось в пятницу вечером. Все прочее, что произошло после того момента, представлялось неважным и лишеным всякого смысла, — так, скучные подробности официального завещания по разделу имущества.

— Могли Ионсон быть похитителем? — спросил я. — Или кто-то другой из оставшихся?

— Не глупи, приятель, — устало сказал он, явно теряя терпение.

Я взглянул на него с некоторой даже симпатией. Было что-то подкупающее в его упрямой прозаичности, лишенной всякой фантазии. Этот бескомпромиссный реализм выдавал в Фоме человека, незаменимого в трудных ситуациях, — трезвомыслящего, честного и преданного. Отчаянно верного и преданного до упора.

— Вы ведь хотели бы, чтобы он вернулся? — спросил я. — Хотели бы увидеть его снова, вернувшимся к жизни?

Он кивнул, его глаза потемнели:

— Если бы вы знали его, как мы. Были бы с ним в течение трех лет... — Он вдруг посмотрел вверх, и лицо сделалось каким-то беззащитным.

— Мы верили в него, понимаешь? Мы думали, что он на самом деле Бог.

— Почему? Что заставляло вас так думать?

— Когда кто-то появляется неожиданно, совсем из ниоткуда, и начинает творить чудеса, разве ты, приятель, не стал бы думать, что он Бог?

— Хорошо, — осторожно сказал я, памятуя о Патросе и зрителях, — чудеса не совсем мой предмет. Я бы, скорее, предпочел исследовать очевидное, чем...

— А тебе, приятель, никогда не доводилось видеть, как эти чудеса творятся? Не слышать об этом от кого-то, кто знает кого-то, кто там был. А видеть своими собственными глазами. Приходилось?

— Нет. Никогда.

— Ну, вот, — вздохнул он, — а мне приходилось. И не раз!

— Это, конечно, меняет дело, — согласился я, не

сумев освободиться от покровительственных ноток в голосе.

Он это заметил и возмущенно дернул головой:

— А-а, давай, давай, — сказал он. — Что, не терпится разоблачить?

— Извините. Я не думал...

— Мы заходили в селение, понимаешь? И там нам встретился слепой нищий, весь покрытый мухами, подпиравший стену синагоги. Он жалобно протягивает оловянную кружку для милостыни. И тогда Давидсон идет через дорогу к этому бедолаге, просто касается его век и говорит несколько слов. И бедняга широко раскрывает глаза, как маленький ребенок, которому дали подарок, — он видит! Он видит, приятель! И никаких тебе хлопот! — Он встряхнул головой, словно память все еще сбивала его с толку. — Глухие, хромые, прокаженные, немые — не имело значения, какой у них был недуг. Одно только прикосновение, слово — и с ними все в полном порядке. И так постоянно. Понимаешь, постоянно! Не время от времени, но каждый день, приятель. Каждый день.

— Да, — сказал я, — это, конечно же, впечатляет.

— Впечатляет?! — брови его взлетели. — Это не то слово, приятель. Это было не от мира сего. Помню, однажды мы были в лодке. Там, в Галилее, на море. Уже наступила ночь, и страшной силы ветер бил нам в лицо. А он идет по воде — просто прогуливается по волнам, так, как ты и я прогуливаемся по полю. А в другой раз нас застиг шторм. Задувало и грохотало так, словно море взбесилось, а он лишь сказал три слова, и все успокоилось. Ветер стих, засияла луна и на море — тишайшая гладь. Если ты видишь человека, творящего такие дела, приятель, то

что ты еще можешь сделать, кроме как поверить, что он — Бог?

— Но теперь-то, — сказал я, — вы сменили свое мнение о нем?

Он с тоской посмотрел на меня:

— Он умер, приятель.

— И это меняет дело?

— Бог не может умереть.

Это было то же препятствие, которое остановило и Никодима. Реальный факт смерти, через который не может переступить ни один человек.

— Какой он был? — спросил я. — Как человек, я имею в виду.

— Не знаю. Разный. Не похожий на других людей.

— Хотите сказать, он был гений?

— Можно сказать и так. Да.

— Он был хорошим человеком, господин Дидум? Умным, симпатичным, отзывчивым?

Он хмуро посмотрел прямо в камеру:

— Это не те слова, — сказал он медленно. — Добрый, умный — эти слова никак не показывают того, кем он был. Да, он был всем этим, у него было все это — но слова не значат ничего, когда речь идет о нем.

— Ну хорошо, а как он выглядел? Я имею в виду, был он, к примеру, высоким? — поинтересовался я.

— Он всегда казался высоким. Когда находишься рядом с ним, он как бы возвышается над всеми. И именно это я и имею в виду, когда говорю, что слова совсем не годятся, чтобы описать его. Потому что, скажем, в сравнении с таким парнем, как Петр Ионсон, он был всего лишь среднего роста.

Я улыбнулся:

— Мне говорили, Ионсон настоящий гигант?

— Да, — согласился он. — Он просто верзила. Вы-

сокий и широкий, как тот шкаф. Но когда он был рядом с Учителем, уж не знаю почему, только он казался каким-то сжавшимся.

— Это так вы называли Давидсона: Учитель?

Он кивнул:

— Вы — римляне, а я всего лишь иудей. Жид. Вы ведь так нас называете, правда? Грязные жида.

— Нет, — возразил я, — погодите...

— Да все нормально, приятель. Тебе не надо извиняться. Прозвища — это ведь не ругательства. Вы подчинили себе нашу страну, но вы не подчинили нас. Мы не считаем себя подвластными Риму, да будет вам известно. Мы свободный народ, приятель, и мы не каждого человека называем своим Учителем. Но его мы звали именно так. И это звучало верно. И справедливо.

Он смотрел на меня вызывающе. Но за этой дерзостью явственно проступало тоскливое чувство, неприкрытое желание того, что могло произойти, но не произошло.

— Господин Дидум, — сказал я, — а к чему это должно было привести? Чего вы ожидали от него?

— Чтобы он встал во главе правительства, конечно, — удивленно ответил он. — Чего же еще? Мы ведь думали, что он — Мессия.

— Значит, это то, что должен делать Мессия? Управлять страной?

— Не просто страной, приятель. Миром. «И будут правительства на его плечах!» — вот как мы говорим о Мессии.

Он сидел, ссутулившись в своем кресле, маленький и одинокий в свете юпитеров. Такой обычный, такой незначительный человек с бесцветным голосом, рассуждающий о мировом господстве.

— Но неужели вы не могли понять, — спросил я, — что это невозможно? Сельский плотник и горстка людей против Синедриона и Рима?

— Я же сказал: мы думали, что он Бог, — упрямо повторил он.

— Ну да, конечно, — сказал я и, выждав секунду-другую, добавил: — Что происходит сейчас, господин Дидум? Теперь, когда он мертв и вы предоставлены самим себе. Есть ли у вас какое-то будущее? Как у группы, я хочу сказать.

Он пожал плечами:

— Теперь это не имеет значения. Все пропало. Кончено.

— Что вы собираетесь делать?

— Вернуться к работе. Собрать все по частям и начать сызнова.

Ему не удалось вложить энтузиазм в свои слова. Для него, по всей видимости, после полудня прошлой пятницы мир подошел к своему концу.

— А что насчет Иуды Искарота? — спросил я.

Он воззрился на меня:

— А что?

— Он ведь умер, не так ли?

— Да.

— Правда, что он предал Давидсона? Сообщил о нем Синедриону?

— Все было кончено, — сказал он. — Мы все это чувствовали. Это был только вопрос времени. Он сделал свой выбор на праздник Пасхи, и это не сработало.

— Вы имеете в виду, когда он въехал в город?

— Да. Тогда. Я бы мог ему сказать, что это не сработает, но его заклинило на этом. — Он посмотрел на меня мрачными, лишенными всякой надежды глаза-

ми. — Когда он объявил, что собирается сделать это, мы уже знали, что это край пропасти. Они пытались отговорить его — Петр и некоторые другие. Мы остановились в пещере над дорогой в Иерихон, и они несколько часов спорили с ним. Но я-то видел, что уговорить его им не удастся. Он пропускал их слова мимо ушей. Смертное желание было на нем, и избежать этого было невозможно — как ему так и нам. — Он покачал головой. — Знаешь, что я тогда сказал, приятель? Я сказал: «Спокойно, мужики. Он готовится к перемене, и у нас нет другого выхода, как идти с ним». Это похоже на то, что происходит иногда с деревом, на которое нападает жук-древоточец. Оно обречено на гибель, приятель. Пусть оно даже снаружи выглядит нормально, но внутри-то жук источил всю древесину. Ничего не остается, как свалить это дерево. И не имеет значения, кто приложит руку к топору. Дерево тоже это понимает. И не о чем тут больше говорить.

— Но справедливо ли проводить такую аналогию? — спросил я. — Неужели он...

— Слушай, приятель, — жестко сказал он. — Он говорил, что он — Сын Божий, и мы верили ему. И что? Он заблуждался, как оказалось, вот и все.

— Вы считаете, он был безумцем?

— Я не знаю, — тихо сказал Дидум. — Должно быть, он им был. Иуда Искариот был в этом твердо уверен.

— И поэтому он и пошел в Синедрион?

— Наверное. Одна из причин, во всяком случае. Искариот верил в Царство так же, как и любой из нас. Даже больше, чем многие, наверное. Очень может быть, он думал, что Учитель уже переступил границу и находится на пути к этому Царству. Я не знаю. — Он

качнул головой как бы в досадном недоумении. — Мы не были готовы к нему. Вот в чем загвоздка, приятель. Мы могли слушать его рассказы, и это было очень интересно. Но понять, что это значило, нам было не под силу. Даже таким башковитым парням, как Иоанн Зеведей и Иуда Искариот. Надо думать, именно это и подкосило его в конце концов: пытался донести до нас истину о жизни, о свободе и о Царстве — и видел, что мы не в состоянии вместить это. Пожалуй, именно это и убило его: он не мог донести до нас, своих друзей, суть своего учения.

Я сказал, быть может, несколько едко:

— О, успокойтесь. Уже не тайна, кто именно убил его. Он стал жертвой бесчестной игры властей, священников и политиков. Синедрион сфабриковал обвинение против него, и Пилат...

— А-а, эта компания, — насмешливо перебил он. — Они не стоят того, чтобы о них говорить. Это не они погубили его, нет. Он мог бы ускользнуть от всех от них в любой момент, если бы захотел. — Он наклонился вперед, и в свете прожекторов четко обозначились темные круги у него под глазами. Его лицо являло собой трагедийную маску, каким-то образом оказавшуюся за пределами театра. — Нет, это не Каиафа и не его лизоблюды. И это не Искариот. Он сам подошел к краю пропасти, и знал это. Разыграл свой последний козырь и увидел, что проиграл.

Он на минуту задумался и продолжил:

— Мы поняли, что все кончено, в тот последний четверг, когда ужинали с ним. Уже тогда нам стало ясно, что все пропало. Печать на нем была — такая отчетливая, что мы чувствовали, как от нее холодом веет. Я не хочу скрывать, приятель: мы были сильно напуганы тогда, в тот вечер. Нам было страшно

с ним. Мы сидели и смотрели друг на друга, не смея взглянуть на него, и еда казалась нам сухой и безвкусной. Это было похоже на трапезу с покойником.

Теперь он путался, подыскивая нужные ему слова, подобно человеку, пытающемуся выкарабкаться из-под руин дома, обрушившегося ему на голову.

— Знаете, что он нам сказал той ночью? Он вознес хлеб, преломил и дал нам его. И сказал: «Ешьте. Это тело мое — меня самого — настоящее мое, — за вас преломленное». А потом, когда мы почти управились с едой, он предложил нам вина. И сказал: «Пейте, все пейте. Это кровь моя».

Он неожиданно уронил голову на грудь и закрыл лицо руками. Я услышал мягкий щелчок камеры: это Грег сменил линзы и снова вернулся к съемке. В слепящем свете юпитеров в студии зависло чувство ужаса: постоянный спутник мурашек по телу, расползающихся, чтобы коснуться нас всех. Было воскресение или не было — но присутствие Иисуса Давидсона явственно ощущалось каждым из нас. Возможно, оно было спровоцировано рыдающим у нас в студии человеком, который отложил свой рабочий инструмент и свои планы на жизнь, чтобы последовать за мечтой.

Я почувствовал, что все у меня пошло наперекосяк. Казалось, словно все мы — продюсер, режиссер, звукооператор — были вовлечены в какой-то общий кошмар — неспешное, болезненное раскручивание спирали надежды. За пределом яркого круга света темнота была напряженной и пугающей. Я растерянно огляделся, и мой взгляд остановился на студийных часах: секундная стрелка безучастно, круг за кругом, обегала циферблат. Я сосредоточился на часах и, ощутив прилив сил, сказал — только ради то-

го, чтобы что-то сказать, чтобы вернуться в привычное русло:

— Должно быть, он был замечательным человеком.

Тут Дидум поднял глаза, и я был потрясен ничем не прикрытой болью, рвущейся из них.

— На следующий день он умер, — произнес он бесцветным голосом: совершенно безучастно, без всякого волнения, и это никак не вязалось с душевной агонией, бившей из его глаз. — Он умер в пятницу в полдень. И это мы убили его.

— Это враждебный нам свидетель, Касс, — продолжал Каппер по телефону. — Я тебе все время это твердил. Не думаю, что тебе следует оставлять его в передаче.

— Я не знаю, — сказал я, вновь ощутив то чувство смешанной со страхом жалости, которое всколыхнуло в моей душе слова Фомы Дидума. Был ли он действительно враждебен нам? Да, у него не было веры в воскресение Иисуса Давидсона, это так. Но, с другой стороны, Давидсон имел огромное влияние на него. И нечто мистическое в его личности проявилось именно в истории, которую Дидум рассказал нам. Я подумал, что один факт нужно принять как само собой разумеющийся: если только Давидсон был именно таким человеком, каким его описал Дидум, то единственным финалом, могущим придать смысл всей этой истории, являлось воскресение. Так я и сказал Капперу.

— Возможно, ты и прав, Касс, — ответил он. — Но с каких это пор события стали претендовать на смысл? Под каким бы углом мы ни рассматривали историю Давидсона — это трагедия. А трагедия, как

всем нам известно, по сути своей — бессмыслица. Хороший человек, исполненный высших идеалов, приговаривается к смерти из вероломства и зависти — это трагично, и это лишено всякого смысла! Поэтому все это и убедительно. Люди могут принять случившееся как отражение их собственных переживаний. Если ты хочешь под конец привнести элемент чуда, ты не можешь дать Дидума с его текстом. Он слишком правдоподобен, и при таком раскладе ты ни за что не заставишь зрителя поверить в чудесный конец этой истории.

— Он знал Давидсона, — упрямо повторил я, — и он сообщил нам кое-что о нем. Это важно, Ник.

— Этот малый, Клеопа, тоже знает его, — возразил Каппер. — Знает, Касс! Настоящее время. А не просто — знал его.

Режиссер делал мне настойчивые знаки оторваться от телефона. Рекламная пауза подходила к концу.

— Он на твоей стороне, — сказал Каппер.

— Так и Дидум на моей, только в перевернутом виде, вверх тормашками.

— Я так не думаю, Касс.

— Ну ладно, слушай, — сказал я. — Факт, что он не верит в ожившего Давидсона, очень важен. Если они пытаются сфабриковать воскресение, то есть если они украли тело и распространяют слухи о живом Давидсоне, то маловероятно, чтобы один из них — один из их тесного круга, а именно Дидум, — решил пустить все под откос своим нескрываемым неверием. Ну как тебе?

— Хочешь сказать, что неверие Дидума в воскресение Давидсона не опровергает, а подтверждает истинность этого события?

— Точно!

— М-м-м, — с сомнением промычал Каппер. — Немного subtilно для зрителя, Касс. Я все же думаю, тебе лучше обойтись без него.

Режиссер провел ребром ладони по горлу и свирепо уставился на меня.

— Ладно, давай решай, Касс, — сказал Каппер. — Клеопа или Дидум — который?

Видеооператоры занимали места на своих платформах. Микрофон на длинной штанге снова завис у меня над головой. На раздумья, как всегда, времени не было.

— Оба, — твердо сказал я. — Мне нужны они оба.

— Не может быть и речи, Касс. Ты знаешь не хуже меня, что мы в тисках...

— Я хочу их обоих, Ник. Переговори с Патросом. Скажи, что нам позарез нужно дополнительное время.

— Он никогда на это не пойдет.

— Он будет вынужден пойти. Это большой материал. Я не собираюсь портить его из-за каких-то пяти минут сверхлимитного времени.

— Пять минут?! Да он скорее сделает себе хакари, Касс. Ты же его знаешь!

— Проси у него только две минуты. А когда мы начнем, он нас уже не вырубит.

Я успокаивающе кивнул режиссеру.

— И вот что, Ник, я хочу сделать перестановку.

Каппер взвыл.

— Следующим даем ролик с Магдалиной. Потом Каиафа. Потом Дидум. А твоего нового парня я пушу под занавес. Идет?

— Но, Касс, ты не можешь передвинуть Каиафу. Мы ведь условились, что он должен иметь последнее...

— Спасибо, Ник. Извини за беспокойство.

Я положил трубку и занял место за столиком. Последний кадр рекламы исчез с экрана. Замигали предупредительные сигналы. Режиссер укоризненно покачал головой и дал отмашку. Я посмотрел в объектив камеры.

«Следующим нашим шагом было посещение Мариам Магдалины — девушки, которая позвонила Регему Закхею в Иерихон и сообщила, что Иисус Давидсон ожил и хочет встретиться со своими последователями в Галилее...»

9

Как выяснилось, мои переживания, что я не смогу перехватить ее и Магдалина отправится на север, оказались беспочвенными.

Мы воспользовались раскладушками и устроили ночлежку в офисе Каппера, предварительно оставив на коммутаторе просьбу разбудить нас в пять утра. Но где-то случился непредвиденный сбой, и телефон зазвонил только после шести, так что к дому у Водных ворот мы прибыли с опозданием. Город был открыт уже больше часа, и когда мы стучали в дверь, у меня было мало надежды, что нам кто-то отворит. Но Магдалина была дома.

Из-за Пилата с его комендантским часом и твердолобости дежурного офицера мы упустили других людей. Ионсон и братья Зеведеи, как и все остальные, ушли с рассветом. Но она все еще оставалась до-

ма. Она решила задержаться на пару дней, чтобы оповещать всех сочувствующих их делу. С ней в доме были еще две или три женщины, так что она оставила их «при исполнении», а сама поехала с нами в студию.

Сначала она не решалась ехать, но, узнав, что мы встречались с Закхеем, улыбнулась и немного расслабилась. Я также сообщил ей, что мы уже взяли интервью у Фомы Дидума, и это оказало решающее воздействие. Она поинтересовалась, что он говорил, и, когда я ей кратко пересказал, согласно кивнула.

— Мы должны все расставить по своим местам, чего бы это ни стоило, господин Теннел, — сказала она решительно. — Это необходимо как для Фомы, так и для всех и каждого. Что бы он, в конечном счете, ни решил, мы не можем оставить его с таким грузом на душе.

И вот я, откинувшись на спинку кресла, наблюдаю за кричащими неоновыми огнями многочисленных кабаре в Старом Квартале, мигающими и сверкающими на экране монитора. Несколько месяцев назад местные телевизионщики отсняли документальную ленту о ночной жизни столицы, и видеотека услужливо предоставила нам эти клипы. Фильм отобразил беспорядочную жизнь этого квартала в ее наихудшем проявлении: камера пьяно шарахалась из стороны в сторону, лавируя среди людей, заплонивших узкие улочки, выхватывая расклеенные повсюду афиши и позволяя составить некоторое представление об их содержании. Потные лица мужчин, разглядывающих фотографии девушек, сами девушки в обтягивающих юбках, зазывно улыбающиеся в проемах дверей. Затем камера распласталась у самой земли, исследуя сквозь неясные очертания ног осколки разбитых бутылок, затоптанную пилотку, женскую пер-

чатку, свалившуюся в лужу блевотины... «Мирамар», «Шелк», «Тамбор», «Панти Клаб» — все эти названия кабаре были олицетворением похоти, молчаливо воспеваемой сверкающими огнями. Камера выделявала какие-то замысловатые «па» — то ныряла, то раскачивалась едва не по всей ширине улицы, то вдруг пере-скакивала на соседнюю улочку, пока, наконец, не успокоилась, застыв на огромной фанерной фигуре почти голой девушки, широко расставившей ноги в дверном проеме одного из самых больших ночных клубов.

Каппер настаивал на такой последовательности кадров в нашем фильме. Просматривая это сейчас, я вновь засомневался в такой необходимости.

— Контраст, — сказал тогда Каппер, — он должен присутствовать в программе, Касс. Среди отснятых нами священников и кающихся грешников просто необходимо немного честной грязи. Нет лучшего способа сделать обывателя счастливым.

Обывателя и, наверное, Патроса, который уж точно будет жадно чмокать губами при виде этой мерзости. А нужно это передаче или нет — это дело десятое.

Камера пробивала себе дорогу внутрь кабаре через крошечное фойе, мимо дюжины ухмыляющихся солдатских физиономий. Затем она резко взмыла, вознесла нас над головами публики и облаками табачного дыма и сконцентрировалась на небольшой, ярко освещенной сцене. Свет погас, вспыхнули прожекторы. Чтобы впечатление было полным, мы включили звуковую дорожку фильма, и нам в уши ударил грохот барабанов в сопровождении такой какофонии визга, свиста и воплей, что звук пришлось тут же убавить. На сцене, в ослепительном свете прожекторов, появилась девушка в бальном платье. Она была средне-

го роста, черноволосая, лицо закрывала белая маска. К девушке тут же присоединился грузный, лысеющий мужчина, одетый в строгий костюм банковского клерка. Он развернул девушку так, что она оказалась в профиль к камере, и она, запрокинув руки за голову, застыла в позе безжизненного изваяния, в то время как «клерк» начал манипуляции с застежками на ее платье.

Я подготовил краткий обзор основных этапов карьеры Магдалины. По времени я рассчитал так, чтобы закончить рассказ о ней, когда девушка окажется в свете прожекторов. Здесь я намеревался прерваться, но Каппер и слушать об этом не захотел:

— Завести зрителей, растравить их, а потом не дать увидеть главного?! Да ты в своем уме, Касс? — возмутился он. — Что в тебя вселилось, парень? Они же выстроятся в очередь, чтобы получить обратно свои деньги в качестве возмещения ущерба, если мы лишим их этого маленького удовольствия!

Вот поэтому нам и пришлось достаточно долго показывать «клерка»: пока он снимал с девушки платье, белье... И только после этого — быстрая смена кадра на интервью в студии. Надо признать, контраст был сногшибательный. Как бы зрители ни представляли ее себе и какой бы ни ожидали увидеть ее в студии, Магдалина должна была поразить их всех.

Она сидела в кресле с непринужденным изяществом, спокойно сложив руки на коленях. Стройная и привлекательная, с потрясающими рыжими волосами и энергичным лицом, очень красивым. На ней было платье свободного покроя и скромные туфли. Платье не было ни новым, ни особенно модным — так, обычное готовое платье, купленное на сезон-

ной распродаже два, а может, три года назад. Но носила она его с достоинством. Огромные черные глаза, безупречный цвет лица и небрежно уложенные рыжие волосы — все это как бы ожидалось. А вот что было неожиданным, так это ее безмятежность и выражение какой-то особой кротости, которая мгновенно затмевала стереотипный образ девушки из кабаре. Перед нами была исключительно сильная и цельная натура с ярко выраженной индивидуальностью: эта женщина могла сидеть спокойно и молча в углу комнаты, полной людей, и доминировать над ними благодаря одному только факту своего присутствия. Невозможно было и помыслить о том, что она может растеряться или выйти из себя. Она не реагировала на других людей — это они реагировали на нее. Я не помню, чтобы когда-либо еще встречал человека, в таком совершенстве владеющим собой.

Мы ввели ее в кадр и, медленно наезжая камерой, использовали имеющееся у нас время, чтобы заставить зрителя смотреть на нее и проникаться ее спокойной уверенностью. И это она же — такая уверенная в себе и безмятежно спокойная — извивалась в эротическом танце под слепящими прожекторами на сцене кабаре!

— Госпожа Магдалина, — сказал я тогда, — прежде всего, я благодарю вас за то, что вы к нам пришли.

— Я рада быть здесь, — кивнула она.

— Это очень мило с вашей стороны.

Это был, конечно, ничего не значащий обмен любезностями. Но необходимыми любезностями. Я знал, что зрителям, чтобы они смогли сосредоточиться на том главном, о чем она будет говорить, необходимо дать одну-две минуты, как я и сделал, что-

бы они подпали под обаяние ее внешности. Она была «звездой» моей передачи, моим главным свидетелем, и я хотел, чтобы она осталась в их памяти и после того, как память о Пилате и Никодиме поблекнет и сотрется.

— Дело в том, — начал я осторожно, — что мы пытаемся установить истину об Иисусе Давидсоне.

— Да, понимаю, — сказала она низким, чистым голосом.

В ней не было ничего пресного. Какое бы влияние на нее Давидсон ни оказывал, он не приручал и не выхолащивал ее дух. Я встречал новообращенных людей и прежде, которые в отрицании своего бывшего образа жизни, бывало, отвергали также и самое жизнь, и находил их тусклыми и бесцветными. Магдалина не походила на них. Она схватила все, что оставил им в дар Давидсон, — прощение, свободу, — схватила обеими руками с такой же готовностью, с какой однажды избрала себе профессию, сделавшую ее печально известной.

— Я думаю, вы его хорошо знали? — спросил я.

— Да.

— Насколько хорошо, госпожа Магдалина?

— Очень хорошо.

— А какой характер носили ваши взаимоотношения? — спросил я, осторожно подбирая слова.

— Доверительный, — улыбнулась она.

— Понятно.

Она улыбнулась интонации моего голоса, уголки ее рта приподнялись, а брови слегка подпрыгнули: это была искренняя, открытая улыбка, в ней не было и намека на фальшь.

— Что вам понятно, господин Теннел?

— Видите ли, вы...

— Я знаю. Я танцовщица кабаре, или была ею.
А он — Бог.

— Ну да, что-то вроде этого, — пробормотал я.

Она спокойно посмотрела на меня:

— А вы, я вижу, и мысли не допускаете, что танцовщица может довериться Богу?

Я проигнорировал вопрос. По сценарию было еще слишком рано позволять ей задавать вопросы, особенно теологического плана.

— Но Бог ли он? — мой вопрос прозвучал риторически. — Ведь именно это мы как раз и пытаемся выяснить.

— О да! — воскликнула она с такой непритворной уверенностью в голосе, словно это было так же естественно и очевидно, как дневной свет. — Он Бог. Благословенный. Жизнь мира!

— Жизнь? — ухватился я за слово. — Но ведь мы говорим о мертвом человеке?

— Я — нет. Он был мертвым, разумеется. Но теперь он снова жив.

Я кивнул:

— Это слова, которые у нас всех на слуху, но...

— Это не слух, — твердо сказала она. — Это правда. Вы говорили, что хотели узнать истину о нем. Так вот она: он — жив.

— Вы заявляете это так уверенно, госпожа Магдалина?

— Да, я уверена.

— Как вы можете быть столь уверены?

— Потому что я видела его, — сказала она просто.

Наблюдая ее вот так, крупным планом, я почувствовал такую убежденность в ее голосе, что, казалось, эта убежденность способна воздействовать физически. Я понадеялся, что она достанет даже Патроса.

Но как бы то ни было, а моя задача как раз и состояла в том, чтобы поколебать ее убежденность и, если получится, быть к ней столь же безжалостным, как я был безжалостен к Пилату и к Никодиму.

— Госпожа Магдалина, — обратился я к ней, — я вижу, вы были очень привязаны к нему? — Я имел большой опыт в задавании такого рода вопросов, и подоплека моих слов была вполне прозрачной.

Но она обезоружила меня одним ударом:

— Я привязана к нему больше, чем к кому бы то ни было, потому что люблю его, — прозвучал ответ. Она смотрела прямо в объектив камеры, и ее слова прозвучали как брачный обет невесты на свадьбе.

— Да, — смешался я. — Да, я понимаю.

И тут я вздрогнул, услышав через динамик собственный голос. Он прозвучал неуклюже, как у школьника, не выучившего урок. И это был я, Касс Теннел, приводивший в замешательство знаменитых актеров и развенчивавший славу выдающихся деятелей несколькими удачно подобранными фразами! Я, Касс Теннел, для которого не было ничего святого — ни горя, ни тайны, ни печали — ничего! И вот я здесь, в студии, и наблюдаю, как еврейская девушка, танцующая в кабаре, без особого труда поставила меня на место. Нет, не поставила. Она положила меня на обе лопатки!

В моем мире люди не делают заявлений о любви, во всяком случае, не делают этого по достижении десятилетнего возраста. Любовь — не то слово, которое легко произносится или осмысленно срывается с наших губ. За пределами нашего детства оно сразу же утрачивает свою чистоту и становится, в лучшем случае, пристойным синонимом слову «секс». Мы застенчиво пользуемся им даже в постели, потому что

мы уже давно не в состоянии верить в его глубокий смысл, в подразумеваемую им чистоту, верность и преданность. О, мы сведущи в делах любви! И в то же время мы слишком незрелые и фальшивые, чтобы принять подлинную сущность любви, принять ее как дар, данный для того, чтобы им обладали.

Она взглянула на меня и рассмеялась:

— Бедный вы человек. Я вижу, что озадачила вас.

— Нет, — сказал я. — Это как раз то...

— Я подразумеваю не этот вид любви, — сказала она. — Это нечто совершенно другое, хотя я и допускаю, что оно каким-то странным образом произрастает из человеческой любви. Но это новый вид любви: любовь, которой он освобождает вас в этом мире.

У кого-то другого эти слова прозвучали бы нестерпимо приторно. Но тон, каким она произнесла их, и промелькнувшее в ее глазах волнение, придали ее словам особое измерение. Слова, сказанные ею, произвели глубокое впечатление. Но сами они не раскрывали заложенного в них смысла. Это все равно, как попросить ребенка рассказать о фантастическом мире, который он для себя придумал. У меня возникло ощущение, будто я оказался за пределами знакомого мне мира и стою, встревоженный и взволнованный, и не могу понять, как я сюда попал и что меня так растревожило.

Но я подавил это неожиданное чувство:

— Боюсь, что это несколько выше моего понимания, госпожа Магдалина.

— Я догадываюсь, — с грустью ответила она. — Я еще не очень хорошо могу об этом рассказывать. И мне будет нелегко объяснить это людям — так, чтобы они поняли. Он предупреждал нас об этом. Отча-

явшиеся люди — да, эти поймут. Люди в беде, перед лицом опасности. Но не те обычные мужчины и женщины, у которых дела в порядке и нет проблем. Они-то и окажутся самыми трудными. Он даже для себя считал это довольно трудным делом, не говоря уже о таких, как я, пытающихся пробиться к ним.

— Быть может, вы расскажете нам немного о нем, — предложил я. — Что за человек он был? Рискнули бы вы сказать, что он был счастлив, например?

— Счастлив? — она с сомнением попробовала это слово на вкус. — Нет. Нет, пожалуй. Это не то слово, какое вы можете употребить, говоря о нем. Оно чересчур ранимо. Вы понимаете, что я имею в виду?

— Н-нет, простите, — признался я, — не совсем...

— Как и мы, — сказала она. — Мы попали в этот мир, как в огромный капкан, из которого не выбраться. Мы находимся во власти вещей, неподконтрольных нам. Счастье приходит к нам. И мы всеми силами пытаемся удержать его. Но сделать это мы не в состоянии. Достаточно слова или взгляда, чтобы разрушить его. Письмо, или телефонный звонок, или несчастный случай с другом... Счастье — это то, что мы чувствуем, вопреки обстоятельствам, а не благодаря им. Оно приходит к нам не так уж часто, но если приходит, мы все равно не можем им наслаждаться, потому что боимся, как бы оно снова не улизнуло. — Она улыбнулась. — С ним ничего подобного не было. Он не был в капкане. Он был свободен. Не жертва обстоятельств, но их хозяин. Он имел власть управлять обстоятельствами, счастливо возвышаясь над ними — как само счастье!

— Вы говорите, он свободен. Имеется в виду: до того как он умер?

— И до того как умер. Вы ведь знаете, что означа-

ет его имя? Иисус — Иешуа — Победитель. Вот это и есть единственный способ охарактеризовать его. Он был человеком, который победил.

— Но он не победил. В конце концов, он был побежден.

Она качнула головой, всколыхнув пламя огненных волос.

— Нет. И мы так думали. В прошлую пятницу, в полдень, именно так это и выглядело — даже для нас. Но теперь все изменилось!

— Со вчерашнего утра?

— Да.

— Не могли бы вы рассказать нам, что там произошло? Я имею в виду у гробницы.

— Он вырвался на свободу. Что бы они ни предпринимали, они не могли удержать его. — Она засмеялась, в волнении всплеснув руками. — Они опечатали склеп, как вы знаете, и поставили охрану, конную. Все это выглядело смехотворно. И, одновременно, вызывало жалость к ним. Это как если связывать спящего льва хлопчатобумажной ниткой. Лев проснулся — и не заметил, как нитка порвалась.

Я поймал себя на мысли, что если культ Давидсона станет модным, то самой большой проблемой будет развенчание подобного образа — наивного и очень надуманного.

Но в ее устах слова вновь и вновь раскрывали свое истинное значение. У нее, во всяком случае, когда она их произносила, слова звучали искренне и убедительно.

— Вы утверждаете, что видели его там, вне могилы?

— Я в самом деле видела его.

— Живого?

— Ну конечно.

— Госпожа Магдалина, — сказал я жестко. — Прощу меня простить, но такое просто невозможно.

Она осталась совершенно спокойной:

— Это — чудо, господин Теннел. А к нему чудеса приходят естественным образом. Мне стыдно вспомнить, какими медлительными мы были, что не смогли сразу это понять.

— Ну это как раз и понятно, — сказал я. — Я и сам не слишком-то верю в чудеса.

— Он сотворил их множество, господин Теннел. Огромное множество.

— Так и мне говорили.

— Беда в том, что люди неверно истолковывали их.

— Не верили им, хотите сказать?

— О нет! Они верили, как положено. Если вы видите хромого, встающего и разгуливающего, слышите, как глухонемой, которого вы знали со дня его рождения, вдруг начинает петь, — у вас не очень-то большой выбор, не так ли? Когда подобное случается перед огромной толпой, вам приходится в это верить. — Она снова встряхнула головой. Этот жест смешанного разочарования и возбуждения я уже начал ассоциировать с людьми, знающими Давидсона. — Но вот смысл, значение того, что он творил, — этого они не могли понять. Они считали, что он просто человек, творящий сверхъестественные вещи.

— Естественно, — сказал я. — А что же еще?

— Нет! В том-то все и дело. Он не был обычным человеком. Он был Богом. Бог во плоти — он и творил дела, которые были естественными для него. Люди постоянно твердили: «Как может этот деревенский “никто” творить чудеса?» Но надо было

спрашивать: «Как может Бог ходить по Израилю подобно человеку?» Вот оно, главное чудо, господин Теннел, — что он вообще пребывал среди нас! Стоит вам осознать это, и тогда все остальное станет совершенно понятным.

— Даже воскресение?

— В особенности оно. Смерть не может удержать Бога.

Ни Никодим, ни Фома не осмелились произнести эти слова. «Бог не может умереть» — это глухая стена, сквозь которую они не могли пройти. Но «смерть не может удержать Бога» — вот что утверждала женщина, шагнувшая за ту сторону стены. Женщина, живущая уже в другом измерении, — без страха смерти. Это и было секретом ее уверенности, на котором она стояла прочно и безмятежно. Я посмотрел на нее с неожиданно нахлынувшим состраданием — мне вспомнились страдальческие глаза Фомы Дидума. Ей предстояло встретиться с ужасным личным горем, если и для нее эта мечта в один прекрасный день увянет и умрет.

Я сказал:

— И вы видели его там, в саду, у могилы?

— Да, это так. Я видела его и разговаривала с ним, — я услышал нотки терпения в ее голосе и улыбнулся, глядя на экран. Она, конечно, была права. Стоит вам хоть однажды проглотить невероятную идею о Боге, живущем в мире, как человек, и все остальное, будет казаться совершенно логичным. Но это не была лишённая жизни книжная логика — логика, идущая от рождения к смерти. Нет. Это была уже некая новая логика. Логика освобождения, которая бесстрашно началась с акта смерти и оспаривает право на возвращение в жизнь. В контексте этой ло-

гики моя занудная зацикленность на физическом феномене «вновь явленного» Давидсона была раздражающе наивной.

Я начал понимать, почему слово «свобода» постоянно возникает в моих разговорах с теми людьми, которые знали его. Сначала я воспринял его как религиозное, отнюдь не политическое слово. Но что это была за религия, которая воспринимает нравственные вопросы добра и зла как основанные и сконцентрированные на свободе и любви? Которая ускользнула от интеллектуального восприятия священников и была, однако же, понята танцовщицей кабаре?

Я сказал:

— Как вы оказались в то утро в саду в такое раннее время? Было ли это оговорено с ним заранее, еще до того как он умер? Заранее условленная встреча?

Она засмеялась:

— Ничего такого драматичного. Просто мы воспользовались первой же возможностью навестить его могилу. Думаю, вы знаете, что у нас существует строгое правило не работать по субботам. И нам пришлось ждать до рассвета вчерашнего дня, чтобы пойти туда.

— Да, конечно. Но почему вы пошли? Было ли это вызвано исключительно сентиментальными чувствами?

— В какой-то мере, думаю, да, — откровенно призналась она. — Но и практическими соображениями тоже. Мы взяли благовония и масла и... О, сейчас это звучит, конечно, абсурдно: группа женщин в глубоком трауре идет приготовить труп к погребению. Но ни о чем другом мы тогда думать не могли — только об этом. Мы вынуждены были стоять и наблюдать, как его вели на смерть. И погребение в пятницу было очень поспешным — все нужно было закончить до за-

ката солнца. Вчера утром мы решили сделать все должным образом. Во всяком случае, похоронить его как положено. — Она улыбнулась. — Мне кажется, все это выглядит странным, господин Теннел. Но для нас очень важно соблюдение наших иудейских погребальных обычаев.

— Я понимаю, — сказал я.

— Мы очень переживали, сможем ли мы войти в склеп, ведь вход был закрыт огромной каменной плитой, да еще охранялся гвардией и все такое. Однако когда мы пришли туда, охраны не было, а вход был открыт — плита уже не закрывала его. И когда мы заглянули внутрь, оказалось, что там пусто!

Я кивнул. Это уже была знакомая музыка.

— Вам не пришла в голову мысль о грабителях могил?

— Это было первое, что пришло на ум. Помню, как Саломея, одна из женщин, высказалась довольно едко — так, как она всегда высказывалась, если бывала чем-то раздосадована: «Даже когда бедная душа мертва, они не могут оставить ее в покое».

Я быстро взглянул на нее:

— Они?

— Ну да, Синедрион.

— Вы подумали, что члены Синедриона перенесли тело?

— Да, конечно. Кому еще могло это понадобиться?

— А зачем это Синедриону? — удивился я.

— Не знаю. Пожалуй, чтобы не позволить могиле превратиться в место поклонения. Если бы не Иосиф, предложивший свой фамильный склеп, они похоронили бы его в негашеной извести на тюремном дворе. Так это, как правило, и происходит.

— Я интересовался этим.

Она кивнула:

— Господин Иосиф лично ходил к генерал-губернатору и получил разрешение похоронить тело. В Синодрине же были очень расстроены этим, я думаю.

Я мог понять их тревогу. Погибший герой в величественной могиле был готовым знаменем для провоцирования будущих волнений.

— Но все, конечно же, было не так, — сказала она. — Мы бросились назад к дому и сообщили об этом мужчинам. Тогда Иоанн Зеведей с Петром Ионсоном тут же побежали напрямик к склепу, чтобы удостовериться. Я бросилась следом, но, конечно, отстала от них.

Я сказал:

— Я хотел бы здесь кое-что уточнить. Это очень важно. Вы утверждаете, что мужчины были поражены известием о пустой могиле?

— И разгневаны. Особенно Петр. Я никогда не видела его в таком бешенстве.

— Тогда правильнее было бы сказать, что эти мужчины, которые были его ближайшими сподвижниками, никак не ожидали, что он может воскреснуть из мертвых?

— Никто из нас не ожидал этого, господин Теннел. Никто.

— Хотя он не однажды именно это и обещал вам?

— И тем не менее. Мы не ожидали увидеть его снова живым. Мне горько, что приходится такое говорить, но это правда.

— А мужчины были с вами все это время? С вечера пятницы?

— Да.

— Благодарю вас, — сказал я. — Пожалуйста, про-

должайте. Что случилось, когда вы во второй раз в то утро оказались у могилы?

— Я увидела выходявшего из склепа Петра. Я едва узнала его: он выглядел постаревшим и словно побитым. Иоанн взял его под руку, и они вместе медленно побрели назад. Они проходили мимо меня, но, думаю, они меня не видели. Они брели как во сне.

— И вы пошли за ними?

— Нет. Я осталась. Не знаю почему. Я плакала и была очень несчастна, и...

— Я вполне понимаю, госпожа Магдалина. Это было чрезмерное напряжение для вас.

Она пристально посмотрела на меня и сказала:

— Вы ведь не верите этому, да? Вы не верите, что он снова живой?

— Я охотно позволю убедить себя.

Она встряхнула головой:

— Вы думаете, я не совсем в своем уме. Немного «сдвинулась по фазе», да? Вы думаете, что шок был слишком для меня сильным. Согласна, это был шок — увидеть пустую могилу. Ужасный шок.

— Да, — сказал я, — конечно.

— Я представляла, как они терзали его тело, когда вытаскивали его из могилы среди ночи. Потом выкопали где-нибудь яму, бросили его туда, зарыли и притоптали землю над ним. Минуту-две, после того как мужчины ушли, я оставалась в саду наедине со своим горем и подумала, что схожу с ума, — она улыбнулась сердечной, вполне разумной улыбкой. — И тогда он подошел и заговорил со мной.

— Иисус Давидсон? Вы уверены?

— Конечно. Он появился неожиданно и спросил, почему я плачу. Он говорил так... так обычно и непринужденно. Я сначала не догадалась, что это

он. Забавно, не правда ли: знакомый тебе голос кажется чужим, когда ты не ожидаешь его услышать. Но тут он назвал меня по имени: «Мариам» — сказал он. И я тотчас поняла, кто это, и обернулась, и тогда увидела его.

И снова это прозвучало с такой убедительной простотой, словно она только что очнулась от кошмарного сна и узнала знакомую комнату и лицо отца, склонившегося над ней. Наблюдать ее и слушать ее голос было сродни переживанию греческой трагедии — тот же катарсис, вот только наступал он в конце драмы со счастливым исходом. Но такой финал, пожалуй, был откровенно оскорбительным для разума просвещенной публики. Все-таки, пока концовка волшебной сказки о мертвом человеке, вернувшемся к жизни, не будет узаконена таким же образом, как правдивая и заслуживающая доверия ее первая, трагедийная, часть, до тех пор вся эта история лишена смысла, а ее герой попросту абсурден.

— Он сказал что-нибудь еще? — спросил я.

— Он дал мне устное повеление. К Петру и мужчинам. Он назвал их своими братьями. Я бросилась к нему. Он был тут, и я была так счастлива, оттого что видела его, и, в то же время, боялась, что он может снова исчезнуть. Я крепко держала его, удостоверяясь, что это он. Но он мягко высвободился и сказал, чтобы я шла домой и передала его слова.

— Что это было за послание? Вы можете нам сказать?

— О да. Это не тайна. Теперь мы покончили с секретами. Все, любой и каждый, должны знать об этом, понимаете? Если, убив его, они не смогли заставить его замолчать, то уже больше ничто не в силах это

сделать. Он сказал: «Иди и скажи моим братьям, что я восхожу к моему Отцу и вашему, моему Богу и вашему Богу. Скажи им, я иду сначала в Галилею, и они должны прийти туда и встретить меня там».

— И вы передали им его послание?

Она кивнула:

— Я бежала весь обратный путь. Я была так взволнована, что сначала не могла выговорить ни слова.

— А они поняли, что он имел в виду, госпожа Магдалина?

— Конечно. Это было то, что он обещал. Он говорил нам обо всем этом задолго до своего воскресения: как он пришел от Бога и как он собирался к Нему назад. Он говорил с нами откровенно, и не однажды, а много раз.

— И все же сначала, когда вы обнаружили, что могила пуста, вы даже не предположили возможности воскресения.

— Это так, — сказала она. — Он предсказывал нам, что именно так должно было случиться, и мы хотели верить ему. Только я не думаю, чтобы кто-то из нас верил, что это произойдет на самом деле. — Она покачала головой. — Теперь, оглядываясь назад, на последние два года, я думаю, что мы сотни раз разбивали его сердце уже только тем, что были не в состоянии понять ни его истины, ни того, что он делал для нас.

Я вспомнил, как Фома Дидум высказал почти такую же мысль — о недостатке их веры, что и погубило Иисуса Давидсона. Для Дидума это был окончательный крах. Но не для Мариам Магдалины.

— Итак, мужчины ушли на север? — спросил я.

Она кивнула.

— А вы? Когда отправитесь вы?

— Скоро. Завтра, наверное. Или послезавтра.

Я сказал:

— Это то место, где все и началось, не так ли?
В Галилее.

— Да.

— Там вы и встретились с ним впервые?

— Да. В Тиберии. Я была предельно измученной. В кабаре я работала на износ. — Она спокойно смотрела на меня. — Это вовсе не легкий труд, господин Теннел, как вы, может быть, себе представляете. Доктор прописал мне полный покой. Вы знаете, что это значит, — деревенский воздух, питание, много свободного времени для отдыха. И я уехала туда, к морю, в забытое всеми небольшое местечко, укромное и спокойное, как сама церковь. — Она перевернула плечами и улыбнулась. — Звучит, конечно, идиллически, но через несколько недель отдыха мне не стало лучше ни на йоту. Хуже, пожалуй, да. Депрессия, отсутствие аппетита, плохой сон. Я достигла той стадии, когда пропадает интерес к жизни. Природа была изумительной, и все были добры ко мне. Но все это было как бы на некотором расстоянии от меня. И я не могла это расстояние преодолеть. Я была там — и меня там не было. Я ощущала себя призраком.

Она на секунду задумалась, окунувшись в воспоминания, потом продолжила:

— Доктор говорил, что все это из-за моей работы в кабаре. Слишком много ночей на сцене. И эти глаза, множество глаз, которые следят за тобой из полумрака. Ты не можешь видеть их, конечно, — прожекторы подсветки защищают от этого. Но ты можешь их ощущать. И это удовольствие не из приятных. Ты находишься там по собственной воле: под

ярким светом, в своем крохотном, напряженном личном мире. Только в действительности он далеко не личный. Это как если бы ты находился под микроскопом. Через какое-то время ты начинаешь терять чувство реальности. Наверное, вам это покажется смешным, господин Теннел, но меня это лишило душевного покоя. Мне стало по-настоящему страшно.

Я кивнул:

— И тогда вы встретили Давидсона?

— Да. Я не хотела идти. Я не хотела никого видеть. Меня уже ничто не интересовало. Все же они настояли. О нем шла молва как о человеке, способном помочь людям, и меня убедили, что стоит попытаться.

— Так. И что же произошло, — спросил я, — когда вы встретили его?

Она посмотрела с едва заметным удивлением:

— Он исцелил меня.

— Вы хотите сказать, он провел курс лечения? Какой-либо вид терапии?

Она отрицательно покачала головой:

— Это не совсем то, господин Теннел. Вам не надо пытаться подогнать его к какой-то определенной признанной категории, как, скажем, суперпсихиатр или еще что-нибудь в этом роде. Когда я говорю, что он исцелил меня, я имею в виду именно исцеление. Меня привели к нему, и он освободил меня!

Освободил! Опять это слово. Они все использовали его просто, без всяких объяснений, как будто стоит его только произнести — и все объяснится само собой.

Вспомнив Закхея, я осторожно спросил:

— Вы хотите сказать, что он простил вас?

— Конечно. Он простил меня, он освободил меня, он исцелил меня — все это обозначения для одного понятия, господин Теннел. Да и складывается все в одно понятие: жизнь.

«Итак, мы снова здесь, — подумал я. — Опять курс метафизики для самых широких масс».

— Он принял меня такой, какой я была, — продолжала она. — Как личность. Много же воды утекло, пока кто-то меня таковой признал.

— Думаю, в это трудно поверить, — засомневался я. — Вы были знаменитой танцовщицей. Любой в Иерусалиме знал, кто такая Магдалина.

— Магдалина! — повторила она с нотками явного презрения в голосе. — Танцовщица. Имя на афише. Тело, позирующее в лучах прожекторов при грохоте барабанов. А я — человек, господин Теннел. Живое существо, нуждающееся в общении, нуждающееся в любви. Вот такой-то он и принял меня.

— Но люди, с которыми вы находились в Галилее, — сказал я, — они ведь, наверняка, воспринимали вас как личность?

— Они были очень добры ко мне, — улыбнулась она.

— Ну это же замечательно, — не удержался я. — Быть добрым к человеку в беде.

— О, я была им так признательна, господин Теннел. Они делали все что могли, чтобы помочь мне. Но этого было недостаточно. Да, похоже, и не бывает, чтобы достаточно. Не бывает никогда. Вы и сами это прекрасно знаете.

Я знал это. Каждый знает. Доброта может иногда предотвратить трагедию. Но стоит трагедии случиться, и доброта — лучшее, что в нас есть, — оказывает-

ся безнадежно недостаточной. Она может смягчать удар, но исцелять — увы! — она не может.

— И, однако же, — сказал я, — когда этот человек принял вас...

— Это другое. Неужели вы не видите разницы?

— В чем?

— В том, что он — Бог! — сказала она. — Только Бог обладает таким могуществом, чтобы быть над добротой: принять нас такими, как есть, и сделать нас снова цельными натурами.

— Но что конкретно он делал? — допытывался я. — Могли бы вы дать нам хоть какое-то представление...

— Я понимаю, — сказала она, — я понимаю, что вы ждете от меня. Шоковая терапия, инъекции, врачебные тайны — то, что вызывает доверие.

— Видите ли, — я говорил и чувствовал неловкость, — вы все же должны признать, что это было бы...

Она решительно прервала меня:

— Правда в том, господин Теннел, что он не делал ничего этого — в том смысле, который вы подразумеваете. Он просто посмотрел на меня и произнес мое имя. Он даже не прикоснулся ко мне. Но я вдруг почувствовала себя легкой и опустошенной, и подумала, что теряю сознание. А потом я плакала — и все напряжение как волной смыло. И я почувствовала, что все вращается и сосредоточивается вокруг меня — дома, трава, деревья. Все вроде как бы потеснилось, освобождая место для меня. И лица моих друзей были чисты и полны жизни, и я слышала их голоса и городской шум. Я больше не была призраком — я снова стала живой частицей всего этого, человеком с чувством собственного досто-

инства. Это было маленьким возрождением, — сказала она. — Теперь я это понимаю. Это словно родиться заново.

— И все это произошло, — осторожно сказал я, — потому что вы доверились ему?

— Да. Это именно так. Потому что я доверилась ему.

— Госпожа Магдалина, я, к сожалению, не уверен, что понял все, что вы говорили. Но, по крайней мере, одно я понял достаточно хорошо: вы стали тем человеком, которым сейчас являетесь, — я имею в виду вашу умиротворенность, ваше счастье и, главное, ваше огромное желание жить, — в силу одного жизненно важного факта, а именно: что Иисус Давидсон был тем, кем он себя называл.

Она счастливо закивала головой:

— Да, господин Теннел. Потому что он есть тот, кто он есть, а я — это я.

— Не погрешим ли мы против истины, утверждая, что если бы он не ожил, то и у вас тоже не произошло бы возвращения к жизни?

— И у меня, и у всех нас.

Я кивнул, пропуская это замечание:

— Итак, для вас очень важно, что вы увидели его в саду вчера утром?

— Конечно.

— А после этого вы больше его не видели?

— Нет еще. Но кое-кто из наших видел.

Я улыбнулся:

— Госпожа Магдалина, мы вам очень признательны. Вы описали все это так живо и...

— Достоверно? — быстро спросила она, ответив улыбкой на улыбку.

На мгновение я заколебался:

— Так или иначе, но над этим стоит задуматься.

Я взял свой текст и повернулся к камере номер один:

«Полагаю, вы согласитесь со мной, что это замечательная история. И весьма трогательная к тому же. Правда это или нет — другой вопрос. Не потому, что кто-либо здесь сомневается в искренности госпожи Магдалины. Ведь совершенно очевидно, что она верит в то, что видела Иисуса Давидсона живым после его смерти и говорила с ним. И значение этого события, действительно, нельзя переоценить.

В то же время, — продолжал я, — госпожа Магдалина очень впечатлительная и в высшей степени эмоциональная натура, она пережила нечто равносильное нервному срыву и являлась свидетелем, не далее как в прошлую пятницу, казни человека, к которому испытывала глубокую привязанность. По ее собственному признанию, она была у могилы одна, когда, как она заявляет, видела воскресшего человека и разговаривала с ним. Она утверждает, что и другие люди видели его после этого — и тогда это может оказаться правдой. Но до тех пор, пока мы не услышим других очевидцев, мы должны, ради объективности, сохранять ясный и незамутненный разум».

Это был мой спасительный пункт, своего рода страховка на возможную реакцию Патроса. Каппер настоял на том, чтобы я присовокупил эту оговорку к своей речи.

— Ты воспринимаешь это по-другому, Касс, — сказал он. — Ты в водовороте событий. Ты носишься

как угорелый, разговариваешь с людьми все эти последние тридцать шесть часов, и ты устал и взвинчен. Все произошло слишком быстро, и ты просто не имел возможности переварить все это. — Он добродушно улыбнулся. — И потом, она очень привлекательная женщина.

— Это не имеет никакого отношения к делу, — сказал я.

— Возможно, и не имеет, но помогает. Не важно, веришь ты или нет в воскресение Давидсона, но любой дурак, увидевший тебя в этой передаче, одну вещь будет знать наверняка — что ты без ума от Магдалины. Окончательно и бесповоротно. Ты веришь каждому ее слову.

Я раскрыл рот, чтобы выразить свой протест, но Каппер поспешил дать объяснения:

— О, я не укоряю тебя, Касс. Она стоящая женщина и очень убедительна. В особенности, когда сидит вот здесь, напротив тебя. И в этом все и дело, понимаешь? Но это не значит, что и для Патроса это будет выглядеть столь же убедительно. Он будет сидеть перед экраном телевизора в Риме, наблюдая все в черно-белом цвете и в двух измерениях. Может случиться так, что до него это тоже дойдет. А может — и нет. И потому, на всякий случай, мы должны принять меры предосторожности.

— А тебя она не убедила? — спросил я его в лоб.

Но он вывернулся и ушел от ответа:

— Дело не во мне, Касс. Дело в Патросе.

— Но...

— Слушай, мы оба положили свои головы на плаху из-за этой истории, Касс. Так давай уж, по крайней мере, делать все возможное, чтобы головам этим было хотя бы удобно лежать.

«Однако есть одно обстоятельство, которое не вызывает сомнений, — сказал я уже в камеру. — Вчера утром склеп оказался пустым, и тело Давидсона исчезло. С этим согласны все. Чтобы получить объяснение этого факта с позиции религии, мы отправились к Его Преосвященству господину Первосвященнику».

10

Сразу после воскресного совещания Синедриона секретарша Каппера стала добиваться для меня встречи с Первосвященником. И тщетно. В понедельник утром, незадолго до одиннадцати, она сообщила об очередной неудавшейся попытке.

— Мне очень жаль, господин Теннел, — сказала она, — но я не могу прорваться через коммутатор. Все время один и тот же ответ: «Его Преосвященство в данный момент недоступен».

По настоянию Каппера я сел на телефон, в надежде, что, может быть, мне удастся преодолеть этот барьер. Девушка на коммутаторе во Дворце начала было говорить мне то же, что и секретарше Каппера, но я не стал ее слушать. Я объяснил, кто я, при этом упомянул имена нескольких важных персон и совсем немножко, самую малость, припугнул ее этим, и, после некоторого колебания, она соединила меня с капелланом Его Преосвященства.

— Интервью с Его Преосвященством? — переспросил капеллан. — Боюсь, это совершенно невозможно. — Судя по тембру голоса, капеллан был еще совсем молодым человеком, интонации же выдавали

в нем опытного эксперта, поднаторевшего в закулисных интригах. Я почувствовал к нему мгновенную неприязнь. — Его Преосвященство не принимает...

— ...посетителей в данный момент, — закончил я за него фразу. — Да, я в курсе. Но это крайне необходимо.

— Извините, — сказал он. — Нет.

— А когда же он будет принимать?

— Трудно сказать. Где-то в конце недели, возможно. А вероятнее всего, на следующей неделе. У нас сейчас проходит главное религиозное празднество.

— Я в курсе.

Его голос утратил долю своей невозмутимости:

— Тогда, быть может, вы также осведомлены, что Его Преосвященство очень утомлен? За последние несколько дней ему пришлось отдать слишком много времени и сил решению важных вопросов. И теперь крайне необходимо, чтобы он отдохнул и восстановил силы.

— Все мы решаем важные дела, кои возлагаются на нас нашими обязанностями, равви, — сказал я. — Жизнь требует их разрешения. И вот сегодня жизненно важно, чтобы я поговорил с господином Каиафой.

— Повторяю, совершенно невозможно.

Я не сдавался:

— Я начинаю думать, что вы недооцениваете всей важности моего вопроса.

— Для вас, возможно, он важен, — согласился он. — Мы все склонны наделять свою работу особой значимостью.

Я с трудом сдержал себя.

— Не только для меня. Я почему-то считал исключительно важным моментом для иудейского общества в целом и для господина Каиафы в частности,

чтобы авторитетная трактовка событий от имени Храма была включена в мою сегодняшнюю программу. Его Превосходительство генерал-губернатор с большой готовностью согласился говорить о политической подоплеке слухов об Иисусе Давидсоне. Не покажется ли несколько странным, что Первосвященник отказывается от сотрудничества? Как вы считаете?

— Вопрос не в отказе от сотрудничества, господин Теннел, — сказал он, — а, как я уже упоминал, в том, что Его Преосвященство изнурен. Как человек мирской, вы не можете даже представить себе того напряжения, которого требуют от Его Преосвященства события такого порядка и значения.

— Вы имеете в виду праздник?

— Разумеется.

— Его Преосвященство так утомили празднества, что он и говорить не может?

— Представьте, да.

— Я так не думаю, — сказал я. — Мне почему-то кажется, что дело не в усталости, а в страхе.

На какое-то мгновение повисло молчание, потом он сказал:

— Это утверждение столь же неэтично, сколь и абсурдно.

— Возможно. Я даже допускаю, что по абсурдности оно не уступает вашим отговоркам. Но если отказ в аудиенции обусловлен не страхом...

— Господин Теннел, если бы вам довелось общаться с Его Преосвященством, вы бы понимали, как смехотворно ваше заявление. Первосвященник Иудеи не боится никого, кроме Бога!

— Именно об этом я и говорю, — согласился я.

Он заколебался:

— Боюсь, я не совсем...

— Послушайте, равви. Я нахожусь в Иерусалиме чуть более двадцати четырех часов. Так вот, этого времени оказалось достаточно, чтобы понять, что для огромного числа людей Иисус Давидсон является не кем иным, как Богом!

— Надеюсь, вы не предполагаете, — сказал он холодно, — что я буду выслушивать богохульство, пусть даже оно исходит от человека не нашей веры.

— Иными словами, эта мысль страшит и вас? — резюмировал я.

— Давидсон мертв. — Я различил нотку неуверенности, нарушившую, как узелок на нитке, невозмутимую гладь его голоса. — И не в нашем обычае бояться мертвецов, господин Теннел, кем бы они ни были.

— Естественно, — сказал я, — но при условии, что они остаются мертвыми. А что, если нет? Что, если человека, умершего в полдень в прошлую пятницу, видели живым и невредимым вчера утром? Разве нельзя предположить, что даже ваш Первосвященник несколько напуган этим человеком?

— Не говорите чепухи, если мне позволено будет так выразиться, господин Теннел. Безответственной чепухи!

— Вы считаете, Давидсон все еще мертв?

— Разумеется.

— И это официальная позиция канцелярии Дворца, как я понимаю?

— Конечно.

— Понятно. Но тогда, хоть убейте, не понимаю, почему Его Преосвященство отказывается предстать перед камерой и во всеуслышание заявить об этом.

Я услышал, как он с раздражением вздохнул:

— Я могу только снова и снова повторить, что Его Преосвященство...

— Утомился. Да, я в курсе. Точно так же, равви, утомился и я. Устал от всех этих хитроумных уловок и закулисных комбинаций. Считаю, что вы поступаете очень мудро, что боитесь Иисуса Давидсона. Тем не менее, я никак не могу понять, почему вы так явно это демонстрируете и даже не пытаетесь скрыть свой страх. Передайте Его Преосвященству, что моя программа сегодня в девять вечера. Скажите ему, что мы пользуемся спутниковой связью. А это всемирный охват, равви! Вы ведь сможете донести до него этот факт? Показ на весь мир! И сообщите ему еще одно: если он отказывается появиться в нашей программе, мы считаем себя вправе сделать наши собственные выводы и поделиться ими со зрителями. И выводы необязательно будут лестными для вас.

— Господин Теннел, — произнес он уже обеспокоено, но все еще пытаясь сохранить хорошую мину при очень плохой игре. — Я не знаю, чего вы хотите добиться такими методами, но позвольте мне заверить вас, что мы не...

— Всего доброго, равви, — вежливо сказал я и положил трубку.

Через час он перезвонил. Его голос вновь обрел свое ровное течение. Он сообщил, что Его Преосвященство будет рад предоставить нам аудиенцию: в два часа пополудни во Дворце, и чтобы мы постарались быть пунктуальными. Я сказал, что будем.

Изящное, худошавое и аскетическое, над аккуратно подстриженной бородой, лицо Каиафы, Первосвященника Иудеи, бесстрастно смотрело на ме-

ня с экрана телевизора. Высокий лоб и точеный профиль безапелляционно указывали на аристократическое происхождение и, заодно, на древность рода. Личностную характеристику Его Преосвященству давали глаза — зловещие и холодные, как глаза змеи.

— Ваше Преосвященство, господин Каиафа, — слушал я свой голос, — давайте начнем с экстренного совещания Синедриона вчера утром.

Он степенно склонил голову:

— Как вам угодно.

В своем шелковом облачении, маленькой ермолке на голове, он выглядел вполне непринужденно и все же как-то настроенно. У него за спиной виднелись стены кабинета, опоясанные книжными полками.

Дизайн кабинета Первосвященника преследовал единственную цель — подавлять посетителей. Книги на полках, узоры на ковре, кресла, стоящие под таким углом, чтобы эпицентром, приковывающим к себе внимание, был Каиафа, — все было подчинено этой цели и служило исключительно ей. Каиафа царил в этом кабинете и приковывал к себе внимание, но не потому, что был интересной личностью или обаятельным человеком. Он сидел в центре «силового поля», как паук в паутине, и от него исходило реальное ощущение угрозы. Он сам был воплощением опасности и угрозы. Разглядывая его сейчас на экране, я вспомнил, как мы замешкались в дверях, отдавая себе полный отчет в том, что за фигура сидит перед нами. Грег успел шепнуть мне на ухо: «Осторожно, Касс! Этот парень кусается».

— Не смогли бы вы рассказать, о чем там шла речь? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Это касалось богохульства Давидсона.

— Что-то вроде аутопсии?*

— Если хотите.

Я кивнул:

— Это правда, что в ночь на прошлый четверг вы в Синедрионе настаивали на его казни?

— Это был мой долг, господин Теннел.

— И что вы лично посетили генерал-губернатора, чтобы получить его санкцию на приговор?

— Совершенно верно. И он, я рад это отметить, охотно посодействовал нам и помог.

Я оставил это специально для Пилата — пусть запомнит и сохранит в памяти, если, конечно, пожелает.

— Почему? — спросил я. — Почему это было так важно для вас, чтобы он умер?

Его брови удивленно приподнялись:

— Не для меня лично. Я священник Бога, господин Теннел. Как таковой, я не желаю смерти ни одного человека. Но, как Первосвященник Израиля, я несу определенную ответственность. В интересах нашей нации было необходимо, чтобы он умер.

Он, не мигая, смотрел в камеру, слова с его губ срывались сухие и бесцветные. Можно было подумать, что мы обсуждаем план выкорчевки нерентабельного виноградника.

— Но разве, Ваше Преосвященство, он не совершил великих дел во имя нации? По крайней мере, на обывательском уровне, для простых людей. Исцеления, например, а также его доброе имя как...

— Он был религиозным шарлатаном, господин Теннел, — его голос резал как хирургический скаль-

* Аутопсия (мед.) — вскрытие трупа.

пель. — Еретик и подстрекатель черни. Такие люди не совместимы с иудаизмом.

Я сказал:

— Но в данном случае присутствовал и политический аспект, не так ли?

— Политический аспект присутствует всегда. — Тонкие губы на мгновение растянулись, что должно было означать улыбку. — Это то, чему всех нас научил Рим.

— А не смогли бы вы осветить политический аспект дела?

— Вряд ли. Я полагаю, Его Превосходительство генерал-губернатор дал полную картину.

Каппер предупреждал меня, что его трудно будет вывести из равновесия. После нервозности Пилата его хладнокровная властность, безусловно, впечатляла. Он отвечал на мои вопросы с почти что презрительным спокойствием, неспешно подыскивая подходящие, на его взгляд, слова и не позволяя вовлечь себя в дискуссию.

— Возвратимся к вчерашнему совещанию, — сказал я. — Обсуждались ли слухи о его воскресении?

Он угрюмо посмотрел на меня:

— Не в наших традициях созывать Синедрион, чтобы убивать время его членов на обсуждение слухов. Нас интересуют исключительно факты.

— А разве это не факт, что могила Давидсона обнаружена пустой вчера утром?

— Да, действительно, — он не скрывал своей скуки.

— И к какому мнению по данному факту пришел Синедрион, Ваше Преосвященство?

— Обычное, если не сказать циничное, ограбление могилы. Кое-кто из его шайки проник ночью в склеп и украл тело.

— Понятно.

— Мы ожидали чего-либо подобного.

— Вот как?

Он вздохнул:

— Он поступал слишком опрометчиво, не единожды предсказывая свое воскресение.

— Но едва ли кража тела каким-либо образом может быть истолкована как воскресение.

— Можно организовать все так, что будет весьма похоже, господин Теннел.

— Вполне возможно, так оно и есть. — Я помедлил с минуту, потом сказал: — А как насчет землетрясения?

— Я ничего не знаю об этом, — выпалил он чуть-чуть поспешнее, чем следовало бы. — Я определенно не чувствовал никакого землетрясения. Не заметил его, насколько я знаю, и Его Превосходительство.

— Да, так он и мне сказал.

На этот раз я выждал немного дольше.

— Боюсь, у некоторых наших сограждан... слишком богатое воображение, — продолжил он, наконец. — Чудеса, знамения и тому подобное.

— Как, например, разорванная пополам завеса в Храме в момент его смерти в пятницу?

— О, — сказал он, презрительно скривив губы, — это!..

Я согласно кивнул:

— Странно, не правда ли?

— Это было святотатство, — сказал он. — Акт вандализма.

— Вы хотите сказать, что кто-то прокрался в Храм и разодрал завесу?

— Конечно. Кто-то из его банды. Это ведь само собой напрашивающееся объяснение. Эти невеже-

ственные люди, которых он собрал вокруг себя... — Он поджал губы, взгляд стал тяжелым. — Это все плоды его будоражащих речей и его фальшивых чудес. Он был изощренным демагогом, играл на чувствах легковверных глупцов. Вы не представляете, какие абсурдные легенды о нем кочуют по городам Галилеи: пешие прогулки по морю, загнанные в сети косяки рыбы, насыщение пяти тысяч человек коркой хлеба... Выдумки, господин Теннел! Отвратительные, богохульственные выдумки!

Я быстро перевел разговор в другое русло:

— Если я правильно понял, охрана проявила себя не лучшим образом? У могилы, я имею в виду.

Он одарил меня беглой змеиной усмешкой, показав мелкие, очень белые на фоне темной бороды, зубы.

— Ах, да, охрана. Я надеялся, что вы избавите меня от этого вопроса, господин Теннел. Боюсь, что это самое щекотливое место.

— Охрана осуществлялась усиленным составом, конечно?

Он посмотрел на меня и покачал головой:

— Я вижу, что должен сделать чистосердечное признание, господин Теннел. Численность охраны была более чем достаточной. Но, увы, есть факт, который невозможно отрицать: охранники спали. И пока они спали, могила была ограблена.

Это заявление буквально ошеломило меня. Я ожидал, что он будет безжалостен в своем стремлении максимально очернить человека, с которым расправился таким бесчеловечным образом, и сделал это не собственноручно, а руками Пилата. Но даже от него я не ожидал такого вероломного цинизма...

— Поверьте, это очень тяжелое для меня признание, — сказал он невозмутимо. — Задевающее к тому же воинскую гордость иудеев. Но ничего не поделаешь. Правда прежде всего, господин Теннел. Мы можем быть не очень хорошими солдатами, но, по крайней мере, мы должны быть честными людьми.

«Ага, попробуй рассказать это майору Санбаллету», — подумал я. Мне было бы интересно узнать, в какой отдаленный и бесперспективный гарнизон его перевели вчера утром.

Вслух же я сказал:

— Трудно поверить, что они спали, Ваше Преосвященство. Ну, один-два, как-то можно понять. Но чтобы спал весь контингент...

Он передернул губами:

— Вы ставите меня в затруднительное положение, господин Теннел.

— Я бы хотел услышать ответ.

Он кивнул:

— Будем говорить откровенно. Подобное отношение к службе совсем не редкость для наших мест: определенный итог неразумного, скажем так, празднования пасхальной субботы. Я ни в коем случае не ищу оправданий. Но люди испытывали значительное напряжение в течение всей недели, и когда время праздника закончилось в субботу в шесть часов вечера...

— Пьяное оцепенение, — резко выпалил я. — Это вы хотите сказать?

Он пожал плечами и развел руки:

— Самое неподходящее прегрешение.

— Но объяснимое, — сказал я.

— Вы очень снисходительны.

— И правдоподобное к тому же, вполне пригодное для оправдания.

Он сверкнул глазами. Но прежде чем он успел заговорить, я сказал:

— Мы можем подвести предварительные итоги нашей беседы: Давидсон был казнен должным образом, и его тело похоронено в склепе. Ночью в субботу или ранним утром в воскресенье, в то время как охрана была, скажем, недееспособна, могила была ограблена и тело украдено. Так будет правильно?

— Совершенно правильно. Краткое резюме официального заявления, которое мы передали прессе для публикации в завтрашних выпусках.

— Следует ли понимать, что это официальная позиция Храма?

— Да.

Я заулыбался:

— Тогда, Ваше Преосвященство, что вы скажете, если я сообщу вам, что у нас имеются свидетели, которые подтвердят, что Иисуса Давидсона видели живым в последние двадцать четыре часа? И что он разговаривал с некоторыми из этих свидетелей?

— Вздор, — сказал он презрительно, — вот что я могу сказать. Вздор. И к тому же злостный и безответственный.

— Нам это не показалось ни злобным, ни безответственным, — мягко сказал я.

Он поджал губы:

— Я опять буду с вами предельно откровенен, господин Теннел. Да, у нас было много хлопот с этим Давидсоном. Полагаю, что могу с полным правом сказать, что мы были исключительно терпеливыми и мягкими в этом деле...

— Мягкими, Ваше Преосвященство? Но вы же его казнили.

— Мы прибегли к казни как последнему средству. И только потому, что он сам не оставил нам альтернативы. Он бродил по стране в течение трех лет. Мы могли бы арестовать его в любое время. Причин для этого у нас было достаточно. В продолжение всего этого времени он не демонстрировал ничего, кроме явного неприятия государственной религии. Кроме того, он подчеркнуто оскорбительно вел себя по отношению к некоторым выдающимся ученым-теологам и не упускал возможности подорвать наш авторитет и оскорбить истинную веру.

Я сказал:

— А возможно ли в данном случае вести речь, скажем, о великом реформаторе?

— Сельского плотника, который сидит в кабаках и пьет с избранными им друзьями — людьми из низших слоев нашего общества, — вряд ли можно представить как религиозного реформатора, господин Теннел. — Он наклонился вперед, ссутулив плечи. — Интересно, понимаете ли вы всю деликатность сегодняшнего положения дел в этой стране? Мы — гордый народ, который не очень доброжелательно относится к иностранной оккупации. Я полагаю, будет честно сказать, что мир и благосостояние нации может поддерживаться только сильным институтом религиозной власти. Стоит поставить под сомнение авторитет Храма, и все мыслимые бедствия не замедлят явиться к нам. Вот поэтому мы и вынуждены были, в конце концов, прибегнуть к решительным мерам против Давидсона. Ибо еще один год, самое большее полтора, и он своим учением разрушил бы нравственные устои нашего народа — совокупность моральных норм общества и личной нравственности, которая является внеш-

ним проявлением наших глубоких духовных убеждений. А это то, на что он напал, господин Теннел. На Закон Божий, которого мы придерживаемся и силой которого мы оказались в состоянии сохранить идентичность нашей нации в условиях непрекращающихся интервенций, пленений и оккупации.

Он умолк на секунду, чтобы перевести дыхание, и продолжил, поскольку я решил позволить ему высказаться:

— Мы — ревностно религиозный народ, господин Теннел, пытающийся удержать за собой свое место в мире. Однако многие устали и отошли от религии. От нас не ускользает тот факт, что в глазах этого мира многое из того, что мы делаем, считается банальным, даже абсурдным. Наша приверженность святыне нашего Закона, которым мы руководствуемся в любом деле — от приготовления пищи до главного церемониального служения в храме, — не воспринимается соседствующими народами, а сам наш Закон они считают сетью религиозных предрассудков. Соблюдение нами субботы; наши официальные святые люди, фарисеи, чье призвание и профессия — публично демонстрировать исполнение мельчайших предписаний Закона, чтобы люди могли видеть это и следовать их примеру, становясь, таким образом, примерными членами общества; наше искреннее поминовение великих исторических событий, посредством которых Бог открылся нам; наше строгое отношение к пище — все это служит предметом насмешек. Но все это имеет огромное значение для нас, и мы убеждены в непреходящей ценности наших традиций. Само наше существование покоится на этом. Мы малочисленная нация, господин Тен-

нел, и наши соседи всегда были много сильнее нас. И все же мы их всех пережили. Египет, Персия, Греция — мы видели падение этих великих держав, в то время как мы выживали и оставались неразвращенными. Не потому, что мы сильнее их, но потому что оставались верными Божьему Закону. Именно поэтому мы должны были заставить замолчать Давидсона. Он сам нарушил Закон и подстрекал наш народ нарушать его. Да вы посмотрите: он ведь открыто учил, что только нарушая Закон, человек может истинно почитать Бога. Надеюсь, я сказал достаточно, чтобы убедить вас в ужасных последствиях, которые могла иметь подобная философия. — Он откинулся на спинку кресла с холодной улыбкой на тонких губах и стальным блеском в прищуренных глазах. — Он не был реформатором, господин Теннел, он был революционером. К счастью для нас, не очень искусным.

«Как бы то ни было, но он был не чета тебе, друг мой», — подумал я, вслух же сказал:

— Ну что ж, пожалуй, это целесообразно, чтобы один человек умер ради сохранения нации.

Он кивнул:

— Верно. В этом все дело. Если вы понимаете это, вы также поймете, почему мы не можем позволить сумасбродным слухам о его воскресении расплзаться по улицам. Иисус Давидсон мертв. Если бы мне позволено было привнести толику юмора в эту искусственно созданную атмосферу напряженности, я бы выразился так: это не просто факт, это — холодный и бездыханный факт.

Я с неприязнью посмотрел на него:

— У вас довольно мрачный юмор, Ваше Пресвященство.

— Возможно, возможно. Но безвредный, господин Теннел, поверьте. Он куда безвреднее всей этой лжи о воскресении.

Он хлестал меня своим манерным и самонадеянным голосом, будто пощечины отвешивал. Я чувствовал нарастающее раздражение и уже с трудом заставлял себя говорить спокойно.

— Говорят, что он провозгласил себя Мессией.

— Он сделал много заявлений, но суровая реальность виселицы опровергла их все — до единого. Мы не можем перехитрить смерть, господин Теннел.

То, что он постоянно называл меня по фамилии, было хорошо продуманным способом вывести меня из себя. Я раскусил его тактику. Это был один из приемов, которыми я сам часто пользовался. И это не вызывало во мне симпатии к нему.

— Нет, — сказал я, — мы не можем. Но, возможно, в Иисусе Давидсоне мы встретили человека, способного это сделать? Может быть, он-то как раз и обладает исключительным правом Мессии: пожертвовать своей жизнью и обрести ее снова?

Он посмотрел на меня сузившимися глазками:

— Мне приятно видеть, что вы кое-что узнали о нашей вере, господин Теннел. Откровенно говоря, не ожидал такой эрудиции от язычника. — Он, сведя в щепоть кончики пальцев, поглаживал ими бороду. — Мне не хотелось бы показаться педантичным, — сказал он, одновременно являя собой образ самого, что ни на есть, педанта, — но ваши сведения не совсем точны. Власть над смертью, несомненно, является прерогативой Мессии. Но ваша интерпретация в корне не верна. Мессия сильнее смерти. Из чего с абсолютной непреложностью вытекает, что он не может умереть. И будь у нас хоть малейшие сомнения

в идентификации Давидсона, его смерть в прошлую пятницу развеяла бы их напрочь.

— А у вас они были — сомнения на его счет?

— Нет, у нас их не было.

— И вы ни на минуту не допустили, что он может быть Мессией?

— Ни на минуту.

Я увидел вспышку раздражения в его глазах:

— Мир полон глупых людей, которых очень легко сбить с пути истинного, господин Теннел. Людей, готовых поверить всему, даже откровенно абсурдному, если повторять им его часто.

Я кивнул:

— Согласен. Но сейчас я говорю об интеллигентных людях, мужчинах и женщинах, обладающих здравым смыслом. О тех, кто начинал со скептического отношения к его заявлениям, и кто стал, в конечном счете, его преданными последователями.

— Это мне по опыту знакомо, — спокойно возразил он. — Многие интеллектуалы проявляют удивительную наивность в вопросах религии. Мне кажется, господин Теннел, вам следовало бы прислушиваться к мнению профессиональных теологов и не слушать тех, у кого нет специальной подготовки в этом вопросе. Такие люди склонны принимать желаемое за действительное. Могу вас заверить, что когда придет Мессия, именно те, кто посвятил свою жизнь изучению Закона, первыми узнают об этом и поприветствуют его.

— Вне всяких сомнений, — согласился я.

Он был доволен, что его точка зрения принята. Впервые в его улыбке промелькнуло некое подобие теплоты:

— Видите ли, мы дали ему шанс подтвердить свои заявления. Даже на суде, хотя обвинения против него были неопровержимыми, мы предоставили ему возможность явить нам какое-либо знамение в доказательство, что он именно тот, за кого себя выдает.

— Вы побуждали его назвать себя?

— Да, мы это делали.

— И что он говорил?

Улыбка поблекла, вернув его лицу выражение холодной черствости:

— Он использовал тайное и сокровенное имя Бога.

— Прошу прощения, боюсь, я не совсем...

— Запретное имя, священное, произносимое только Первосвященником и только в святилище Храма.

— По ту сторону завесы?

Он кивнул:

— Именно там. Это имя, которое Бог открыл Моисею. Имя, которое должно было освободить наш народ из египетского рабства. С того дня произнесение человеком этого имени все является тяжким грехом в наших глазах. Человек, назвавший этим именем себя, проявляет немислимое, предельное кощунство. Ему — анафема.

— Именно это сделал Давидсон на суде?

— Да. — Его лицо, бледное и возмущенное, заполнило экран.

— И потому, что он назвал себя Богом, он должен был умереть?

— Это недопустимое богохульство, господин Теннел. У нас более не оставалось выбора.

— Нет, — сказал я осторожно, — думаю, не оставалось. И все же, простите меня, Ваше Преосвящен-

ство, но мне кажется, что если он действительно был Мессией, то у него точно так же не было иного выбора. Я хочу сказать, что вы просили его назвать себя, и он это сделал. Разве не логично?

Мне показалось, он весь ушел в себя, втянул голову в плечи, а его глаза следили за мной из-под полупущенных ресниц.

— Уж не намекаете ли вы на то, что мы...

— Я ни на что не намекаю, Ваше Преосвященство, — как можно мягче произнес я. — Просто кажется странным, что человека на суде, где на карту поставлена его жизнь, умышленно вынуждают вынести себе приговор.

— Это грубое искажение фактов! — резко выпалил он.

— Извините, Ваше Преосвященство. Но вы должны признать, что даже для человека, не знакомого с тонкостями юриспруденции, это выглядит, по крайней мере, удивительно похожим на...

— Я ничего не должен признавать, — его голос звучал высокомерно, в нем прорывались нотки гнева и... неприкрытого страха. — Да если бы он был Мессией, разве такое вообще было бы возможно — суд над ним, на котором решался бы вопрос о его жизни или смерти?

— Думаю, нет.

— Да это немыслимо, господин Теннел. Совершенно немыслимо. Когда Мессия придет, он будет облечен могуществом и властью. Весь мир преклонится под ярмо его, и слава его объемлет все человечество. — Слова, которые он произносил, оказывали на него магическое воздействие: его голос возвысился и перешел в монотонно-торжественный речитатив, подобный тому, что я уже слышал от Нико-

дима. — Его восхождение будет похоже на движение солнца к зениту, и никто не сможет противостоять ему. Свод небесный будет покрывалом его, а земля — подножием его ног. Острова будут ликовать приходу его, и холмы рукоплескать от радости! — Он резко прервался и злорадно посмотрел на меня стекляшками глаз на мертвенно бледном лице. — Человек, которого мы казнили за богохульство и государственную измену, не подходил под такой образ, господин Теннел. Он был жалок и ничтожен. Назарянин, бунтовщик! И компания, окружавшая его, была весьма далека от ангелов небесных, спутников Мессии. Его друзьями были бродяги и смутьяны — отбросы нашей нации. Слова его были исполнены безумия и не содержали в себе мудрости, и его конец, как и начало, нельзя назвать славным.

— Гусеница и бабочка, — сказал я тихо.

— Не понял, господин Теннел?

— Извините, Ваше Преосвященство, просто мысли вслух.

— В самом деле? — он сардонически приподнял брови. — О бабочках?

Я сказал:

— Вам, Ваше Преосвященство, случайно не приходилось слышать историю о некоем короле, который переделался простым человеком и, никем не признанный, жил среди своих подданных? Почему бы не предположить, что Бог решил сделать то же самое. Конечно, теология не мой предмет, но...

— Рад слышать такое признание, господин Теннел!

— Хорошо, — улыбнулся я ему. — Тогда давайте предположим, что Бог действительно заботится о нас. О простых людях. По-настоящему заботится,

я хочу это подчеркнуть. Настолько, что решил стать одним из нас: родиться среди нас, разделить с нами нашу жизнь и все ее тяготы — слезы, боль, разочарования. Решил отречься от своей славы, от своего величия, чтобы страдать вместе со своим народом. И в конце — умереть...

— Я протестую, господин Теннел! Это звучит абсолютно нелепо, даже со скидкой на вашу профессиональную склонность к вымыслам.

— Умереть на виселице, — продолжал я, — и быть похороненным в склепе. А потом — потом вырваться на свободу и жить снова! Открыть себя уже в своем истинном величии. Все то прекрасное, о чем вы сейчас говорили, описывая образ истинного Мессии, его могущество и слава — все это относится к новой жизни и похоже на рождение прекрасной бабочки из тела неказистой гусеницы.

Я ждал, наблюдая за ним. Грег взял его крупным планом, и мне оставалось только гадать, какая борьба страстей кипела за завесой его непроницаемой надменности. Гнев, страх, сомнения бурлили в нем как вулкан, и лишь благодаря его исключительному самообладанию лава не выплескивалась наружу. И только мелкие, как изморось, бисеринки пота, выступившие на лбу, выдавали, каких усилий стоило ему его ледяное спокойствие. Я выдержал паузу и продолжил:

— Ваш Мессия очень впечатляет, Ваше Преосвященство. Но я с куда большей радостью готов приветствовать Бога, явившегося из человеческой «куколки», нежели вашего царя, который придет, чтобы возложить ярмо на всех нас.

Он выдал подобие улыбки:

— Интересная, хотя и не совсем удачная фанта-

зия, господин Теннел, да и не очень оригинальная. Однако...

— Разве это фантазия, Ваше Преосвященство? Вы не допускаете, что «фантазия» стала реальностью — вчера?

Он сделал нетерпеливый жест.

— Я понимаю, — сказал я. — Но свидетельские показания о воскресении Давидсона, услышанные нами, произвели на нас весьма сильное впечатление.

Он вздохнул:

— Я не спрашиваю имен ваших информаторов, но я бы рискнул предположить, что главный источник — женщина. Более того, я бы пошел дальше и сказал, что эта женщина — фигура весьма одиозная. Я прав?

— В определенном смысле.

Он кивнул:

— Я так и думал. Давидсон имел необычайно сильное влияние на женщин, по крайней мере, на таких, как Мариам Магдалина.

— Я не сказал, что это была Мариам Магдалина.

— Не сказали. Но я знаю, что это была она. Видите ли, невозможно держать в узде такую нацию, как наша, не имея надежных источников информации, господин Теннел. Да, он оказывал огромное влияние на женщин такого типа, что само по себе уже является предосудительным. Когда его арестовали, его люди, о чем вы, по всей видимости, наслышаны, оставили его. Этот сброд, как и следовало ожидать, бежал без оглядки. Никто из мужчин не присутствовал на его казни, зато было несколько...

— А Иоанн Зеведей, разве он не был там? — быстро вступился я.

Он нахмурился:

— Он единственный. Но это — любитель острых ощущений, господин Теннел. И всегда им был.

— Это правда, что он ваш кузен, Ваше Преосвященство?

— Да, правда, хотя это к делу не относится, — он одарил меня своей мертвенной улыбкой. — Знаете, редко отыщется семья без уroda.

— Извините, что прервал вас. Вы говорили о женщинах...

— Да, женщины. Вот они-то все были там. На казни. Что само по себе не только весьма прискорбно, но и противоестественно.

— Прискорбно, это несомненно.

— И противоестественно, — добавил он твердо. — Что это за религиозное учение, в котором женщинам предоставляется столько свободы!

«М-да, речь, достойная истинного иудея», — подумал я, вспомнив, как демонстративно изолированы женщины в синагогах: обладая делегированным мужчинами правом на молчаливое согласие, они там, скорее, сторонние наблюдатели, нежели прихожане.

Я сказал:

— Некоторые из греческих культов...

— Вот именно! Греческие верования! А мы ведь знаем, что они из себя представляют, не так ли? Лицензированная распущенность — вот, пожалуй, самый щадящий эпитет для этих верований.

— Говорят, они очень поэтичны, Ваше Преосвященство, — кротко заметил я.

— Это современное определение, синонимичное развращенности. Они отвратительны, господин Теннел, эти греческие культы. Нечестивые обряды, сопровождаемые мерзопакостной музыкой, — и все это выдается за религию. Отвратительно!

Я мысленно улыбнулся: роль иудея с оскорбленными нравственными устоями он исполнял просто великолепно.

— Но даже эти язычники, — витийствовал он, — вряд ли отважились бы открыто поддерживать отношения с такой безнравственной женщиной, как Магдалина. Сладострастное, порочное существо с ужасной репутацией.

— Должен, однако, заметить, Ваше Преосвященство, что она не произвела на нас такого впечатления. Мы нашли ее весьма достойным и приятным человеком.

Он выпрямился в кресле:

— Господин Теннел, не вижу смысла в обсуждении такой женщины. Ее дурная слава говорит сама за себя!

Но я был полон решимости не позволить ему перехватить у меня инициативу.

— Как хорошо вы ее знаете, Ваше Преосвященство! Вам приходилось лично встречаться с госпожой Магдалиной?

— Нет. И не имею ни малейшего желания когда-либо встретиться с ней. Поступающих сведений о ее поведении более чем достаточно, чтобы...

— А вот Иисус Давидсон, — перебил я его, — напротив, знал ее очень хорошо и включил в число своих самых близких друзей. Он отвел ей очень почетное место.

— Почетное, господин Теннел? Сомневаюсь, что это слово здесь уместно. Само ее присутствие среди этих мужчин было далеко не почетным.

Он сидел теперь очень прямой и высокий: судья на прокурорском сиделище с тяжким грузом непрекаемого права судить на плечах. И я подумал: «Вот

таким, наверное, и Давидсон видел тебя, когда ты, ранним утром в пятницу, зачитывал ему смертный приговор».

И я сказал:

— Не могу согласиться с вами, Ваше Преосвященство. Выслушав ее сообщение о...

— О, пожалуйста, — оскорбленно воскликнул он, — давайте не впадать в наивность! Когда двенадцать здоровых и крепких мужчин, причем некоторые из них женаты, оставляют свои дома и бродят по дорогам и когда в их скитаниях к ним присоединяется безнравственная женщина с дурной славой — когда такое происходит, господин Теннел, можно сделать определенные выводы, и они будут абсолютно однозначными.

Я видел слюну, высыхающую на его губах, и знал, что он любовался собой. Было что-то ненормальное в его способности мгновенно переходить от восторженного речитатива о мессианских грезах к прямотаки карательной атаке на женщину, которой он в глаза не видел. Он напомнил мне одного психопата, который, совершив особо зверское убийство, пришел к себе домой и битый час нежно сюсюкал со своей канарейкой.

— Я прошу меня извинить, господин Теннел, — сказал он с хорошо разыгранным огорчением, — но я ведь предупреждал вас, не так ли, что дискуссия о Мариам Магдалине вряд ли окажется полезной. Истинная правда: чем глубже расследуешь дело Давидсона, тем непригляднее оно становится.

Я сказал ровным голосом:

— Меня беспокоит не наличие пользы, Ваше Преосвященство. Меня беспокоит отсутствие милосердия.

Его сердитые глаза холодно блеснули, встретившись с моими:

— Ну, полноте, господин Теннел, я не могу позволить вам учить меня моему долгу. Я вижу, что вы человек с добрым сердцем. И это делает вам честь. Милосердие — один из даров Божиих, и это очень ценный дар. Но милосердие не может быть использовано в качестве ширмы для сокрытия зла. Милосердие, господин Теннел, не смотрит на аморальность сквозь пальцы. Это, скорее, то свойство разума, которое делает нас способными осуждать зло, не испытывая при этом ненависти к творящему это зло. И не будет немилосердным назвать Мариам Магдалину безнравственной женщиной, поскольку так оно и есть.

— Я могу только повторить, что на нас она произвела иное впечатление. И, кстати, я склонен отнестись весьма и весьма серьезно к ее заявлению о том, что она видела Давидсона и разговаривала с ним вчера утром.

Он вздохнул:

— Вы вольны так думать. Но я должен высказать свое разочарование, господин Теннел, что такой интеллигентный человек, как вы, к тому же опытный журналист, предпочитает верить словам исполнительницы непристойных танцев, приставшей к ватаге бродяг, — он попытался придать последним словам максимально презрительное и уничижительное звучание, — а не внимательному, и, я бы сказал, квалифицированному суждению господина Пилата и моему также. — Он простер свои руки в призывном жесте, который, по-видимому следовало понимать как обращение к сидящему у телеэкранов человечеству. — Политические и религиозные последствия ее

заявления о том, что она якобы видела Иисуса, череваты своей непредсказуемостью, господин Теннел. Генерал-губернатор и я понимаем это. И я верю, вы тоже не можете этого не понимать. Но понимает ли это она, господин Теннел? Способна ли она понять это, она — необразованная, темная женщина, погрязшая в пороках?

— Она не утверждает, Ваше Преосвященство, что она это понимает, — резко оборвал я его. — Она просто не сомневается в его воскресении. И если оно действительно имело место быть... то я весьма сомневаюсь, чтобы вы или господин Пилат смогли найти определение, политическое или религиозное, в которое можно было бы вместить данное событие.

Он мрачно кивнул:

— То, что вы говорите, господин Теннел, — а вы тут совершенно правы, — только подтверждает, что воскресение — это нечто невозможное!

— Да, нечто невозможное, — сказал я. — Или... чудо?

Он гневно поджал губы, брови его взметнулись. Мы удержали его таким на крупном плане пару секунд и потом, как раз, когда он хотел заговорить, перевели камеру на студию. Это был нужный эффект, который, я надеялся, останется в памяти зрителей: человек, сбитый с толку чем-то совершенно для него неожиданным, ошеломленный появлением в деле нового аспекта — чуда, которое он, будучи священником, должен был учитывать с самого начала. Но этот аспект он так и не смог принять в расчет.

В офис Каппера мы вернулись сразу после четырех. Секретарша принесла нам кофе, и первую чашку я выпил почти залпом. Кофе был крепким и душистым — он влил в меня порцию энергии после изнурительной беседы с Каиафой. Я напрочь лишен толерантности к лицемерным служителям культа, и интервью с Каиафой совершенно выхолостило меня. Я налил себе еще одну чашку и попытался расслабиться.

— Ну как он тебе? — спросил Каппер.

— Каиафа? — меня передернуло. — Тяжелый человек, это если говорить мягко.

— То ли глыба льда, то ли галлон уксуса, — высказался Грег, немного подумал и добавил: — С примесью желчи.

— Да, похоже. Если бы мы подсоединили его к детектору лжи, то через пять минут во Дворце перегорели бы все пробки.

Каппер согласно кивнул:

— Ну а так, вообще, смог ты его «расколоть»?

— Не так, чтобы очень. Но с помощью незатейливого монтажа можно сделать так, чтобы выглядело, будто я смог.

— Как думаешь, он обеспокоен? В смысле Давидсоном.

— Я думаю, что он пытается не беспокоиться. Он обнародовал «домашнюю заготовку» — басню о похищении тела, сделал краткий экскурс в историю и теорию иудейской религии и продал Пилата. Последнее сделал легко и без напряга.

— Зная Пилата, это нетрудно было сделать.

— Совсем нетрудно. Все, чем он сейчас озабочен, так это заставить население проглотить это. — Я закурил. — Скажу тебе одну вещь, Ник, которая меня поразила. Он с неподдающейся пониманию беспощадностью набросился на Магдалину.

— Что тут непонятного? — удивился Каппер. — Он ведь высокоморальный служитель культа!

— Он ублюдок на все двести процентов! — свирепо выдал Грег.

— И это тоже. Эти два понятия, как правило, ходят вместе, — Ник откинулся в кресле и заложил руки за голову. — Ладно, чем сейчас озабочен, Касс? У тебя достаточно материала для передачи?

— Не знаю. Сомневаюсь. Но и не вижу, что еще можно было бы сделать. — Я наблюдал за скачущей по кругу секундной стрелкой настенных часов над его столом. Вот так всегда в нашем деле: нам всегда не хватает времени, чтобы закончить работу должным образом. Было бы у нас еще двадцать четыре часа — можно было бы оформить и привести в порядок всю проделанную работу. Но у меня оставалось всего пять часов на работу с камерой. Единственным утешением служило то, что моя вечерняя программа опередит официальное заявление Каиафы, которое появится только в утренних газетах.

— Беда в том, Ник, — сказал я после раздумья, — что мы в своей программе не можем представить ни одного респектабельного человека, стоящего на стороне Давидсона.

Каппер отпил свой кофе:

— И это тебя беспокоит, Касс?

— Не меня. Это беспокоит зрителей. Это может отпугнуть их. Была бы Магдалина счастливой замуж-

ней женщиной с тремя детьми и мужем, работающим в банке, — это в корне меняло бы дело. А так, знаешь, как бы сильно ни хотели они ей поверить, все равно они будут сомневаться.

— Из-за ее профессии?

Я кивнул:

— Ты знаешь, что они из себя представляют, наши телезрители. Они обманывают себя, полагая, будто они прогрессивные и непредубежденные, но на самом деле они махровые реакционеры, как и положено обывателям. Они будут ловить каждое ее слово, но при этом ни на миг не забудут, что она — экс-танцовщица кабаре.

— А Каиафа? Что они подумают о нем, как полагаешь?

— Они возненавидят его самого, — устало сказал я, — но поверят ему безоговорочно, целиком и полностью. Их головы, как компьютеры, запрограммированы на то, что священник всегда говорит истину. И если Каиафа говорит, что Магдалина — падшая женщина, а Давидсон — мертвый еретик, стало быть, именно этому они и поверят.

— Это не самое худшее, — сказал Каппер. — Мне Его Преосвященство нравится не больше, чем тебе, Касс, но ты должен признать, что его доводы абсолютно разумны.

— О да, они разумны, — обозлился я. — В этом-то все и дело. Они слишком, чересчур разумны!

Каппер поджал губы:

— Если они поверят ему, это позволит нам избежать многих серьезных неприятностей.

— Слушай, — сказал я, — да ведь он врет! Вся эта чепуха о пьяной охране и похищении тела — это же все вранье, Ник. Что бы ни случилось у могилы вчера

утром, одно я могу сказать с полной уверенностью: не было там никаких грабителей могил, по крайней мере, в радиусе ста километров!

— Возможно, и не было. Но все же это довольно красивое решение проблемы. Никакой неопределенности в конце. Никаких фокусов-покусов. Может, это и не совсем корректно, но, во всяком случае, имеет смысл.

— Хочешь сказать, что воскресение смысла не имеет?

Он передернул плечами:

— А разве имеет?

Я потер ладонью лицо — сухая кожа саднила, а глаза жгло от усталости.

— Ты все еще думаешь, что я ошибаюсь?

— Я не знаю, Касс. Я просто не знаю. С теорией воскресения ты перешагнул грань. Это уже не работа над репортажем. Это стало для тебя делом, которое ты хочешь выиграть.

Выданное таким вот образом мнение, конечно, не очень мне понравилось, но проигнорировать его я не мог. Я начинал работу с желанием честно рассказать о Давидсоне — то есть объективно, с разных сторон, рассмотреть данное событие. Меня покорило от вежливого цинизма Пилата и мне не понравился способ, посредством которого отделались от Давидсона: отправили его на виселицу, предварительно опорочив, и быстренько вздернули. Все, что я хотел сделать на этом этапе, так это отыскать что-то доброе, что можно было сказать о нем: ведь он руководствовался мотивом, более возвышенным, нежели банальное стремление к политической власти. В беседах с Закхеем и Магдалиной я нашел этот мотив: это идеалистическая концепция нового общества, основан-

ная на исключительной заботе о простых людях. И слушая их рассказы об этом, наблюдая их и видя, как все это оживает и становится реальностью в них самих, я незаметно для себя стал желать, чтобы это было правдой.

И в какой-то момент я ощутил, что должен сделать выбор не просто между Пилатом и Закхеем или Каиафой и Магдалиной, но между двумя мирами, которые они олицетворяли. Между миром, который я знал и в котором жил, — высокопробным политическим механизмом лжи и коррупции, с властью, держащейся на насилии, — и миром Давидсона, который он обещал своим последователям. Теперь, борясь с напряжением и усталостью, я говорил себе, что если бы я поверил, что Давидсон ожил, то лишь потому, что я поверил в реальность его мира, мельком увиденного мною в непоколебимой, светлой уверенности Закхея и в глубокой, трогательной искренности Мариам Магдалины.

Каппер пристально наблюдал за мной.

— Если взглянуть на вещи объективно, — пророчил он наконец, — то первое, что ты должен будешь признать, — что у тебя нет ничего, похожего на достаточно убедительное свидетельство.

«Как много нужно иметь свидетельств, чтобы они стали убедительными? — размышлял я. — Это ведь нечто, во что ты либо веришь, либо нет».

— Вся беда в том, что ты позволил впутать себя в это дело, — продолжал Каппер. — Я тебя предупреждал. Ты должен стоять выше и в стороне от этого, Касс, взвешивая и делая беспристрастные выводы. Но ты не делаешь этого. Больше не делаешь. Ты — внутри дела: переживаешь за него, пытаешься представить его в таком свете, в каком тебе хочется его

представить. И все из-за девушки с огненными волосами и ее способности чрезвычайно увлекательно излагать свою историю.

— Это не только она, Ник, — поспешно возразил я, — есть и другие. Закхей, отказавшийся от доходного бизнеса. Санбаллет, молчаливо и безропотно исполняющий заповедь: честь мундира превыше всего. Никодим и Пилат, дрожащие от страха. Фома Дидум с его разбитым сердцем. И теперь вот этот хладнокровный дьявол Каиафа, изо всех сил пытающийся с помощью лжи выкарабкаться из трудного положения. Все это, как ни крути, складывается в нечто! И ты не можешь уйти от этого.

— Я не собираюсь уходить от чего бы то ни было, Касс. Единственное, что я хочу сказать, — что сегодня ты ни в коем случае не должен категорически утверждать, стоя перед камерой, что здесь имеет место воскресение. Во всяком случае, не на основании тех свидетельств, которыми ты располагаешь.

Он был прав, конечно. Свидетельства не были убедительными. Я оказался в положении адвоката, который знает, что его подзащитный невиновен, но не имеет достаточных доказательств, чтобы убедить в этом присяжных. При таких обстоятельствах ему остается только одно: расследовать дело самому! И я решил на это. Я приоткрыл дверь за пределы своего мирка и огляделся. И мне открылся новый мир — мир, о котором говорил Давидсон. И что бы теперь ни случилось, я решил оставить свою ногу в проеме приоткрытой двери, чтобы не позволить ей захлопнуться.

— Я не могу согласиться, — сказал я.

Каппер тяжело вздохнул:

— Провались все пропадом, Касс. У нас должен

быть репортаж, основанный на фактах, а не передача из серии «очевидное — невероятное». Ладно, давай пройдемся по фактам. Пилат сказал: никакого воскресения не было. Никодим вторит, что его не могло быть. Каиафа поддерживает эту точку зрения и снабжает все слухи, причем совершенно бескорыстно, собственным разумным толкованием. Может быть, это и не совсем правильное толкование, но оно, по крайней мере, может аккуратно спускать ситуацию на тормозах, пока не будет найдено единственно верное объяснение.

Пилат, Никодим, Каиафа — все тужатся поплотнее захлопнуть дверь. Духовенство и государство напуганы призраком свободы. Кто же я такой, в сравнении с ними, чтобы пытаться удержать дверь открытой? И кто, если уж на то пошло, был Давидсон, первым рискнувший распахнуть эту дверь?

Я встал, пересек комнату и, подойдя к окну, стал сверху смотреть на город. Жив ли Давидсон, как верит в это Мариам Магдалина? И если да, то где он сейчас? Где-то здесь, в лабиринте древних улиц, прячется в доме одного из своих друзей? Или далеко отсюда, от Элеонской горы, пробирается по проселочной дороге в Назарет и дальше на север? Как он выглядит после трех дней смерти? И какие планы были у него, когда, уходя, он передал своей крохотной группе учеников, что будет ждать их там, у голубых вод Галилеи?

С этими вопросами нам придется столкнуться, когда их станут задавать зрители. Какие ответы мы сможем им дать, когда начнут звонить телефоны и хлынет поток писем в редакцию? И прозвучат ли эти ответы хотя бы наполовину так же убедительно,

как четкое, короткое объяснение, презентованное Каиафой?

Внизу подо мной, у Яффских ворот, выстроилась длинная очередь к междугородным автобусам, идущим в Вифлеем, Кариот и Вирсавию. Люди терпеливо стояли под полуденным солнцем с сумками и корзинами. Мужчины, едущие домой после работы, матери с детьми, фермеры, отстоявшие день на рынке и возвращающиеся к ожидающей их дома работе. Повсюду в мире, везде, есть люди, подобные этим, что стоят в очереди на автобус. Что они подумают сегодня вечером, когда будут сидеть перед своими телевизорами? Как подействует на них известие, что Бог был повешен в Иерусалиме в прошлую пятницу в полдень, а сейчас, воскресший, беседует со своими последователями где-то у Тивериады?

В тени башенных ворот припарковался армейский бронетранспортер: его спаренные пулеметы настороженно вглядывались в небо. Орудийный расчет сидел, развалившись, в тени: крепкие, тренированные парни в полевой форме цвета хаки и черных беретах с пыльно-серыми тканевыми лентами. Я наблюдал, как они разговаривали и курили — самоуверенные в своей юношеской заносчивости, такой далекой от унылого терпения людей, стоявших в очереди. Я подумал об огромной военной силе, которую они представляли, и у меня возник вопрос: какого рода армию Бог, в лице человека, восставшего из мертвых, мог бы противопоставить легионам Рима? Я вспомнил Закхея, запрокинувшего в хохоте голову посреди тихой улочки, Фому Дидума, ссутулившегося в кресле под студийными юпитерами, и светлую, ранимую в своей наивности, Магдалину. «Мы живем

древней мечтой о свободе» — сказал мне Никодим. Смогли бы мужчины и женщины, подобные им, восторжествовать там, где Рим потерпел поражение, и построить общество, опирающееся не на танки и ракеты, не на страх перед марширующими парнями в форме, а на любовь, свободу и доброту? Если люди, подобные Пилату и Каиафе, ухитрились убить Бога, мог ли Бог, снова вернувшись к жизни, им тоже дать жизнь — так же, как и всем людям? Мог ли он вызволить нас из западни, в которую мы сами себя завлекли, и освободить всех нас?

Тем временем солдаты затоптали окурки и полезли в бронетранспортер. Развернули пулеметы, направили их стволы в землю, взревел мотор, уродливое «средство передвижения» поползло под уклон на своих металлических гусеницах и загромыхало вниз по дороге, прорезая своей тенью очередь на остановке, как косой. Я проследил, как «оно» проскрипело за угол в голубой дымке отработанных газов, и полузабытые строки из старой еврейской поэмы всплыли в памяти: «Господь, спаси моего любимого, моего любимого от львов».

— Бесплезно все это, Касс, как думаешь? — Каппер стоял у моего плеча, и его слова прозвучали отголоском моей собственной мысли.

— Я все же думаю, что Магдалина видела его, — упрямо сказал я.

— Ну и продолжай себе думать, — мягко сказал Каппер. — Но сегодня вечером давай действовать на-верняка, идет? Нет нужды сегодня делать выводы. Позволим зрителям выслушать обе стороны, и пусть они сами решают.

Это был хороший совет: разумный, надежный и — строго по сценарию. Больше того, это было мое кре-

до, которому я следовал в своей работе: беспристрастно, объективно, отстраненно — правило, которого по началу я хотел придерживаться и в этой истории. Я наблюдал, как свет менялся и густел над крышами домов, и устало спрашивал себя: почему же теперь я не хочу следовать этому правилу?

Когда я повернулся к Капперу, на его худощавом, интеллигентном лице блуждала загадочная полуулыбка, а глаза умоляли меня быть благоразумным.

— Как ты думаешь, Ник? — спросил я, делая последнюю попытку, — не как продюсер, а как человек. Что ты действительно об этом думаешь?

Его улыбка моментально увяла, и я увидел крохотную искорку сомнения в его глазах. Или же это была досада? Затем он ухмыльнулся и хлопнул меня по плечу:

— Я думаю, что тебе нужно вздремнуть пару часиков, Касс. Ты подготовил отличную программу. Не хочешь же ты испортить ее своим изможденным видом? Разве можем мы допустить, чтобы «клиенты» стали жаловаться, что ты предстал перед камерой как оживший покойник?

Думаю, это был единственный раз, когда Каппер сфальшивил.

Я не стал возражать против отдыха:

— Хорошо, Ник. Но тебе следовало бы выбрать более удачное сравнение. В данном случае.

Каппер позвонил в студию во время прокрутки сюжета с Каиафой и сообщил, что Патрос согласился дать нам дополнительное время.

— Сколько? — спросил я.

— Четыре минуты.

— Это же мизер.

— Я знаю, Касс, но это все, что я мог сделать. Знал бы ты, сколько я крови себе попортил, чтобы хоть это заполучить.

— Спасибо, Ник, — сказал я признательно. Получить четыре минуты от Патроса было немислимым делом. — Что у них там идет на римском канале после нас?

— Испанская музыка. Фламенко. Двадцать пять минут.

— В записи или «вживую»?

— В записи. И повтор к тому же.

Это была просто необыкновенная удача. Если бы после нашей передачи в программе было что-то политическое или спортивное, Патрос вырубил бы нас из эфира без колебаний. Но музыкальная передача — это совсем другое дело. Патросу медведь на ухо наступил, да и вообще, он был безразличен к музыке. Появился шанс, что если нам не хватит четырех минут, он даст еще время. Потом он спустит с нас шкуру, конечно, но программу не остановит.

— Отлично, — сказал я. — Немного сократим и рискнем. Дидум после этого. И потом Клеопа в завершение. Идет?

— За Дидума, в дополнение к Каиафе, придется держать ответ, Касс.

— Я знаю. Но если качества этого Клеопы хоть как-то соответствуют тому, о чем ты мне говорил, он и будет нашим ответом. Свидетель-очевидец — и респектабелен к тому же. Это именно то, что нам нужно.

— Ну-у, я не знаю, — с сомнением пробормотал он.

Мы уже тщательно проработали финальную часть — до и во время просмотра фильма этим вечером. Как и всегда, это было похоже на работу в частично разрушенной клинике для нервнобольных, поголовно страдающих острой паранойей. Мужики, с надетыми на голову наушниками, орали своим невидимым ассистентам. Техники-осветители — это печально известное племя флегматиков — постоянно спорили с командой операторов, которая своим пристрастием прояснять смысл слов жестами уступает разве что летчикам-истребителям при разборе полетов. Секретари ассистентов озабоченно прокладывали себе дорогу через студию между грудями спутанного высоковольтного кабеля. А в самом сердце этого хаоса, прямо в центре студии, в полном свете прожекторов, двое техников в белых халатах раздраженно шуровали длинными отвертками в разобранных, как на показ, внутренностях камеры «номер один». Выглядели они при этом, как насмешливо заметил Каппер, сантехниками, выдающими себя за врачей.

Наверху, в техническом зале, было поспокойнее, но дух паранойи витал и здесь: мерцали многочисленные телеэкраны, демонстрируя одновременно ролики с различными сюжетами нашей программы; девушки, не отрываясь от секундомеров, бормотали, как молитву, обратный отсчет, сверяли текстовки от-

дельных частей телефильма; монтажеры, операторы, ассистенты, диспетчеры — каждый был занят своим делом, вкладывая посильную лепту в общий бедлам. Через неравномерные, неожиданные интервалы кто-нибудь стучал по динамику, и тогда гудящая какофония студии стремительно, рычащим тигром, врывается в комнату.

Но мы с Каппером привыкли к этому. Уже очень давно это перестало нас нервировать. Пожалуй, мы даже находили это вполне нормальным и по-своему стимулирующим явлением. Мы поудобнее устроились с черновым вариантом сценария, закурили и приступили к работе.

— Первым будет Пилат, — уверенно сказал Каппер. — Лучше начинать, ощущая под собой прочное основание, какие бы причудливые полеты фантазии мы ни позволили себе после этого. Потом армейский парень, как бишь его, все забываю?

— Майор Санбаллет, — подсказала ему секретарша.

— Да, он. Потом... Давай посмотрим... Никодим? — он вскинул брови и посмотрел на меня.

— Никодим следующий в любом случае, — спокойно согласился я.

Он кивнул:

— Потом Закхей: начинает действовать на твоей стороне, так сказать. И после него, даже не знаю, на что он годится, наш друг Дидум.

— А кто действует на твоей стороне? — усмехнулся я.

— На стороне здравого смысла, так будет вернее, — сказал он с мягкой укоризной и проверил свой список: — Остаются Магдалина и Каиафа. Я бы этот порядок и сохранил.

Я энергично замотал головой:

— Первый — Каиафа. Последнее слово я хочу оставить за Магдалиной.

— Извини, Касс. Я не могу это принять. Какую бы неприязнь я к нему ни испытывал, но Каиафа — Первосвященник!

— А какое это имеет отношение к нам?

Он терпеливо вздохнул:

— Что бы мы ни думали о человеке, мы обязаны, согласно общепринятому этикету, уважать его статус. Начав с Пилата, как представителя государства, мы, это же само собой разумеется, должны закончить Каиафой — представителем духовной власти.

— О, ради Бога, Ник! — взмолился я. — Не стоит терять время на протокол, уклоняясь от сути дела. Моя задача преподнести эту историю настолько убедительно, насколько это возможно, а не...

— А моя задача — сделать то небольшое, что я могу, чтобы помешать тебе сделать из себя совершенного идиота!

В эту минуту что-то громко взвыло у нас над головами, и мы сидели, сердито таращась друг на друга. Эффект от пары часов сна, отхваченного мною, начал испаряться. Я снова почувствовал, как в мое тело возвращается усталость, подобно тому как возвращается высокая температура, терпеливо переждав временное облегчение от четырех таблеток аспирина. И только присутствие здесь секретарши Каппера не позволяло мне потерять самообладание.

Поэтому я сказал сдержанно:

— Возможно, это твоя точка зрения. Но, вполне определенно, не моя.

— Слушай, Касс! — вспыхнул он, и я услышал, каким неприкрытым гневом задрожал его голос. — Это

не только вопрос протокола. Это презентация всего, что ты сделал. Если ты поставишь Каиафу вперед, сразу за Дидумом, то можешь забыть об эффекте, который могла бы произвести Магдалина. — Он подождал, не скажу ли я что-нибудь в ответ. Но я лишь покачал головой. — Помнится, ты сам сказал, что она не респектабельна. Ты просто обязан дать ей высказаться, прежде чем Каиафа начнет шлепать о ней губами. Это твоя единственная надежда.

— Ты шутишь, — сказал я. — Ты прекрасно знаешь, что если он выступит последним — а это ключевая позиция! — он смешает ее с грязью.

— Извини. Но с такой вероятностью тебе придется смириться.

Мы проспорили еще немало времени, но, в конце концов, против собственной воли, я согласился, предложив окончательный вариант:

— Вот классный расклад, Ник. Магдалина вслед за Закхеем, как бы ему в поддержку. Потом идет Каиафа — своим толкованием сглаживает все углы, искусно расставляя все по своим местам. Потом Дидум, благовестием похоронного колокола, снова растревожит их души. И, наконец, Клеопа, респектабельный, как свернутый зонтик, заставит их умы сосредоточиться и подведет черту.

Я прищурился, глядя поверх кавалькады огней на слабый голубоватый отблеск, отражавшийся от звуконепроницаемого окна продюсерской кабинки, и пытаюсь увидеть в ней Ника, чей голос я слышал на другом конце провода.

— По-моему, ты идешь на неоправданный риск, — сказал он резко. — Конечно, этот парень, Клеопа, — он вполне порядочный человек. Но ведь он — неизвестный нам человек. Если он не оправда-

ет надежд, или если в Патросе разыграет кровожадность и он «зарежет» нас, ты окажешься в дураках. Надеюсь, ты сознаешь это?

— Да, Ник, — сказал я. — Сознаю.

Я услышал его вздох: «Хорошо».

— Благодарю.

— Не за что. — Его голос звучал устало и очень вежливо. — Только не жди от меня энтузиазма по этому поводу. Не надо. Я знаю тебя слишком давно, чтобы получать удовольствие от созерцания того, как ты совершаешь профессиональное самоубийство.

— Ну, не думаю, что это приведет к такому уж драматичному финалу, — сказал я и с опозданием спохватился, что цитирую Магдалину. Но Ник уже повесил трубку.

Ассистент режиссера просигналил мне, что сюжет с Каиафой подходит к концу. Я придвинулся со своим креслом, удобно облокотившись о стол, и вгляделся в лицо Первосвященника, заполонившее экран. Мне доставило удовольствие убедиться, что выражение его брезгливой неприязни в заключительные секунды, как я и предполагал, можно было с равным успехом истолковать и как изумленную растерянность.

Я взял свой текст и устремил взгляд в сторону камеры:

«Чудо? Так, может быть, это и есть ответ на загадку? Его Преосвященство господин Первосвященник дал нам обстоятельный и заслуживающий доверия отчет о событиях вчерашнего утра. И это именно то, что мы ожидали от него, учитывая его опыт и профессиональную подготовку. Мы все должны быть благодарны, что вопросы вероисповедания в этой неспо-

койной провинции империи находятся под уверенным контролем такого замечательного руководителя, как господин Каиафа».

Это один из самых древних трюков в бизнесе, но все еще удивительно эффективный. К нему прибегают на сельских ярмарках: выстраивают пирамиду из консервных банок исключительно для того, чтобы потом ее сбить. И чем старательнее вы ее сооружаете, тем радостнее становится у вас на душе от ее падения.

«Но, как оказалось, чудо — это именно то, что он еще не готов принять. Могло ли так случиться, что его чувство ответственности за духовное благополучие нации, требующее от него (как это и должно быть!) решения множества вопросов, касающихся сохранения мира и безопасности в провинции, так вот, могло ли так случиться, что это чувство ответственности оказалось причиной того, что он проглядел возможность чуда?»

В умах простых людей этой страны чудеса и Иисус Давидсон идут рука об руку. Есть, конечно, разница между исцелением прокаженного и актом воскресения. Но это лишь разница в степени. А Давидсон сам неоднократно заявлял о своем воскресении.

Нам посчастливилось побеседовать с одним из ближайших его сподвижников, человеком, который слышал категорическое заявление Давидсона, что он вернется после своей смерти. Имя этого человека — Фома Дидум».

Дидум появился на мониторе, ссутулившийся и жалкий. И глухим, бесцветным голосом сделал свое

разрушительное признание: «Мне нечего скрывать. Он мертв, и все для меня закончилось».

Рядом со мной коротко звякнул телефон. Я взял трубку.

— Воодушевляет, не находишь? — съязвил Каппер. — Я надеюсь, ты соображаешь, что делаешь, Касс. Каждое слово этого парня вбивает очередной гвоздь в твой гроб.

— Оставь это на моей совести. Что у тебя с Клеопой?

— Он здесь, со мной.

— Хорошо. Посылай его сюда, хорошо? Я бы хотел иметь секунд сорок после Дидума — на ввод, и потом мы пустим его на экран.

— На горе и на радость, — напутствовал Каппер, — пока Патрос не встрянет в это дело.

Это означало, что Каппер преодолел дурное настроение и в своей привычной манере готов получать удовольствие. Я положил трубку, встал и прошел через студию ко входу. Секретарша Каппера привела Клеопу и, представив нас, ушла.

Я провел его назад к съемочной площадке и усадил во второе кресло, расположенное слева от стола. Устроившись в кресле, я внимательно посмотрел на него.

К моему облегчению, он оказался полной противоположностью Дидуму: легкий, аккуратный, невысокого роста человек в темно-сером костюме, белой рубашке и скромном голубом галстуке. Из нагрудного кармана пиджака выглядывал белый платок, а носы его начищенных туфель были чуть тупее, чем того требовала мода. На вид ему было далеко за тридцать. Он производил впечатление бухгалтера или младшего партнера в немного старомодной, но вполне по-

ченной фирме. Я ободряюще улыбнулся ему: когда мы пустим его на экран, зрители увидят человека, которому они смогут доверять, — сдержанного, респектабельного, добропорядочного.

Как и большинство людей, впервые оказавшихся под нахальными огнями телестудии, он нервничал — сидел на краешке своего кресла и не переставал бросать косые взгляды на камеры. Я бы предпочел переговорить с ним несколько минут, чтобы расслабить его, но интервью с Дидумом прошло уже больше чем наполовину и времени для этого у меня не оставалось. Приходилось только надеяться, что все, сказанное о нем Каппером, правда и что стоит мне задать ему вопрос, как он забудет о своих страхах. Девушка-гример принесла полотенце и коробку с косметикой и принялась припудривать ему лоб. Он растерянно взглянул на меня.

— Она просто удаляет блеск, господин Клеопа, — успокоил я его. — Она проделывает это со всеми нами.

— А что вы хотите, чтобы делал я? — спросил он.

— Хочу, чтобы вы расслабились и побеседовали со мной. Пусть вас не беспокоят камеры и все эти люди вокруг. Просто вообразите, что мы сидим за столом где-нибудь в уютном месте, выпиваем и обсуждаем новости минувшего дня. Ну как?

Он согласно кивнул и даже улыбнулся, когда девушка закончила с его лицом. Он смотрел ей вслед, когда она уходила в полумрак студии, с выражением малыша, впервые в жизни оставленного матерью в кабинете стоматолога. Я мельком взглянул на монитор.

— Продюсер говорил мне, что вы, вроде бы, видели Иисуса Давидсона вчера утром. Это правда?

Его лицо сразу ожило:

— Это действительно так, понимаете? Мы с кузеном ехали в автобусе. Вчера после полудня, да, ранним вечером, точно. И этот человек как раз подсел около...

Я почувствовал нисходящее на меня облегчение:

— Хорошо, — сказал я. — Но не рассказывайте мне это сейчас. Подождите, пока мы окажемся в эфире.

Многое зависело от его неотрепетированного, спонтанного рассказа, но я тотчас же проникся симпатией к этому славному человеку. Как бы там ни было, но мы так далеко зашли в рискованной затее с Патросом, что дюймом больше, дюймом меньше — уже не имело никакого значения.

— Как я об этом узнаю? — забеспокоился он. — Я имею в виду, когда мне начинать?

— Положитесь в этом на меня.

Ассистент режиссера громко произнес: «Тридцать секунд».

— Откиньтесь в кресле и расслабьтесь. У вас нет повода для беспокойства, — сказал я ему и добавил для себя вполголоса: — Не то что у некоторых из здесь присутствующих.

— Пожалуйста, тишина, — скомандовал ассистент, и, спустя мгновение, указал на меня пальцем.

В течение последних двадцати минут или около этого я подсознательно проигрывал все возможные варианты введения Клеопы в программу. У нас не было времени для хорошо продуманного вступления, и тут я ничего не мог поделать, поскольку практически ничего не знал о нем. Не мог я и сказать что-нибудь, что сгладило бы впечатление безысходности от интервью с Дидумом, и спокойно и непринужденно

подвести зрителя к совершенно противоположной точке зрения, которую я надеялся сейчас предложить. В конце концов, я решил никак не комментировать интервью с Дидумом, а Клеопу наикратчайшим образом представить зрителю. Я устремил взор в объектив камеры:

«Полчаса назад вся эта история казалась неопределенной и незавершенной, как, впрочем, и сейчас, но сейчас мы располагаем дополнительным свидетельством. — Строго говоря, я должен был сказать “дополнительной информацией”, но я преднамеренно выбрал слово “свидетельство” из-за его соотнесенности с судебным разбирательством. Я хотел, чтобы зрители прониклись драматизмом ситуации и почувствовали себя, как и я, вовлеченными в нее. — И вот здесь, в студии, с рассказом об этом, господин Симон Клеопа, который прибыл из селения Эммаус, находящегося примерно в семи километрах от города».

13

Я увидел его лицо, возникшее на экране: маленькое, открытое, с выражением легкой натянутости. Меня мгновенно охватила паника. Как мог я позволить убедить себя поставить в ключевой момент программы такую посредственность? Человека, о котором я ничего не знаю, кроме того, что он объявил, будто видел Давидсона живым после смерти. Я видел, как он беспокойно озирался по сторонам, пытаюсь

укрыться от немигающего ока камеры. Я знал, что это робость и нервозность, но зрители могли истолковать это иначе. После блистательного самообладания Магдалины и каменной непробиваемости властительного Каиафы, это был кратчайший путь к гибели. Мне нужно было срочно вдохнуть в него некоторую уверенность или же убрать с экрана.

Я знал, что если начну задавать ему вопросы о нем самом, это только усугубит его неловкость. Все, что я мог сделать сейчас, так это сразу же, без церемоний, окунуть его в интригующее окончание его рассказа и надеяться, что он выплывет. Я повернулся к нему:

— Господин Клеопа, это правда, что вы видели Иисуса Давидсона живым и невредимым в последние двадцать четыре часа?

И тотчас мой страх исчез, и я уже знал, что мой риск возместится сторицей. Это как если бы вам пришлось стоять перед панелью с двадцатью или более выключателей и, по невероятно счастливой случайности, нажать на тот, который вам нужен. Напряжение тут же сошло с его лица: он прямо взглянул в объектив камеры, его голос прозвучал четко, а от нервозности не осталось и следа.

— Да, — сказал он. — Это чистая правда.

— Когда вы видели его?

— Вчера в полдень. И еще раз, поздним вечером.

Я выждал ровно столько, чтобы позволить его словам зависнуть в воздухе. Потом продолжил:

— Не будете ли вы столь добры и не расскажете ли нам об этом?

— Да, конечно, — он живо придвинулся к столу: непринужденный, полный страстного желания выговориться. — Мы ехали на четырехчасовом автобусе

в Эммаус, мой кузен и я. Мы были в городе на празднике. Вообще-то мы планировали вернуться домой еще вчера утром, но задержались в надежде, что, может быть, появятся еще какие-нибудь новости.

Он был именно таким, каким Каппер описал мне его по телефону: эмоциональный, кристально честный, рвущийся рассказать свою историю. Появившись на экране сразу же за мрачно агонизировавшим Дидумом, он был именно тем человеком, с которым зритель мог идентифицировать себя: интеллигентный, прозаичный мужчина, впутанный во что-то странно таинственное, но, тем не менее, сумевший сохранить здравость ума и трезвость суждений. Глядя на него, я поймал себя на мысли, что это было предопределено — пожалуй, это неизбежность, — что он должен был встретить Бога в автобусе.

— Новости о воскресении, вы хотите сказать? — спросил я.

Он кивнул:

— Да, именно. Мы, естественно, слышали слухи. И, конечно, были в некотором замешательстве. Я настаивал на том, чтобы остаться до сегодняшнего дня, но моя сестра, а это очень беспокойный человек, и кузен сочли за лучшее поехать домой и, если понадобится, возвратиться в город сегодня утром.

Это вполне положительно воспринималось на зрительском уровне. Двое мужчин, озабоченно почесывающих затылки у расписания автобусов, и нервная женщина, рвущаяся домой. Ничего не могло быть более житейского и, как я надеялся, достоверного.

— Автобус, который отходил в три пятнадцать, был полупустой, — продолжал он, — мы расположились на задних сиденьях и сразу, вероятно, уже в со-

тый раз, начали перелопачивать события минувших выходных. Мы пытались найти хоть какое-то объяснение всему этому, но, к сожалению... — Он виновато улыбнулся. — А потом, в полутора километрах от города, вошел этот мужчина; он сразу же направился в конец салона и присоединился к нам.

— Давидсон?

— Знаете, произошло нечто странное. В общем, мы его не узнали. Мы были его последователями почти два года. Не такими уж активными, не подумайте. Мы не из того теста, что Ионсон Петр или Матфей Левисон. Но мы верили в него. Мы слышали его много раз, и когда он появлялся где-нибудь в окрестностях Иерусалима, мы никогда не упускали возможности повидаться с ним. И мы с кузенком не раз разговаривали с ним лично. Но когда он вошел в автобус, он показался нам совершенно незнакомым. — Он с досадой покачал головой, как человек, удивленный своей собственной глупостью. — Было нечто странное в его поведении. Как выяснилось, он не имел ни малейшего представления о том, что в эти выходные происходило в городе. Он присоединился к нашему разговору, и мы рассказали о казни, которая состоялась в прошлую пятницу, и о слухах о вчерашнем воскресении. Из вопросов, которые он задавал, было ясно, что он даже не слышал об этом.

— И когда вы рассказали ему, что он говорил?

— О, господин Теннел, легче сказать, о чем он не говорил! Он начал издали, от времени Моисея, и прошелся по всем пророкам и цитировал их, в том числе Исаию и Амоса, — и вплоть до наших дней! Знал все это как свои пять пальцев. Непостижимо! Мы сидели и смотрели на него, разинув рты. Я хочу

сказать, что, в известном смысле, это был знакомый нам материал. Каждый иудей впитывает это, едва начав ходить в школу, — я имею в виду пророчества о Мессии. Но этот человек...

— Одну минуту, — прервал я его. — Когда вы говорите «Мессия», вы подразумеваете Бога? Или...

— Да, безусловно. Некоторые наши священники, я хочу сказать, ученые теологи, те, я уверен, захотят оспорить это. Как правило, они трактуют Мессию как Сына Божьего. Но я полагаю, что эти понятия совершенно равнозначны. И, как я уже упомянул, мы все воспитаны на предании о Мессии. Слышали это сотни раз. Но только не в таком виде, как нам преподнес этот человек. Все эти пророчества — труднейшие места, на изучение и обсуждение которых священники тратят полжизни, — он просто и логично связал в единое целое, ну как будто они были деталями конструктора, и он собрал из этих деталей совершенную конструкцию. Сделал все вдруг таким понятным и, да, именно, неизбежным. Особенно это касалось воскресения.

Я смотрел на него теперь уже с благодарностью — и с некоторым дурным предчувствием. Это была именно та граница, которую не осмелился переступить Никодим, пораженный необратимостью смерти. Едва ли я мог надеяться, что некто, столь неприемлемый, как Симон Клеопа, прорвется там, где ученый богослов, член Синедриона, потерпел неудачу. Ну а если он сможет, если ему это открылось или ему это дано, тогда ответ будет один...

И я сказал, медленно расставляя слова:

— Я хотел бы внести полную ясность, господин Клеопа. Вы утверждаете, что воскресение является неотъемлемым атрибутом пророчеств о Мессии?

— Это их кульминация. Завершающая, чудодейственная часть, которая и придает смысл всему остальному в этом мире, — он сделал жест рукой, как если бы старался охватить все в мире. — Мессия приходит, но никто его не узнает. Никто его не хочет. Он ни в коей мере не похож на того, кого мы ждем. И вместо того чтобы короновать его на Царство, мы казним его. Мы не знаем, кто он, поэтому мы избавляемся от него, вернее, пытаемся избавиться. Но Мессия — победитель смерти! И на третий день он возвращается, чтобы установить свое Царство.

«Мессия — победитель смерти!» Эти же слова произнес и Никодим. Но для него они были окончательным доказательством того, что Давидсон не был — не мог быть — Мессией. «Мессия не может умереть» — вот то, что он тогда сказал. И поскольку в его представлениях о Мессии не было смерти, откуда было взяться воскресению?

Я сказал:

— Но если Мессия — победитель смерти, как же он может умереть?

— Пока он не встретится лицом к лицу со смертью, — вопросом на вопрос ответил Симон Клеопа, — как он может ее победить?

Я вспомнил тревогу Никодима и огоньки страха в колющих глазах Первосвященника. Был ли это тот вопрос, на который они боялись ответить? Острый, требовательный вопрос, который сводил на нет всю их теологическую софистику?

— Вот так он разъяснил нам все там, в автобусе, — сказал он, помедлив. — Поскольку Мессия должен спасти людей, он обязан разделить с ними не только акт рождения, но и акт смерти. Он должен умереть, как умирают все люди. Мы не можем стать участни-

ками его Царства, пока он не примет участия в нашей смерти.

— Но неужели, — спросил я, более для зрителей, чем для себя, — ему так уж необходимо было умирать? Если бы он был Мессией, разве не мог он воспользоваться своим могуществом, чтобы избежать смерти?

Он отрицательно покачал головой:

— Нет. Это то, что говорят они, его враги в Синаедрионе: «Если ты Сын Бога, спаси себя сам».

— Мысль кажется мне разумной.

— О, конечно, он мог бы это сделать. Вне всякого сомнения. Но как бы это помогло нам? Я хочу сказать, что когда пришло бы время нам умирать, то факт, что он в полдень прошлой пятницы, в последнюю минуту, избежал смерти, не имел бы для нас никакого значения. Нельзя победить смерть, избежав ее, господин Теннел. Победить ее можно, только приняв ее, а уже потом вырваться от нее снова к жизни. И только потому, что он это сделал, мы теперь можем не бояться смерти.

Он произносил слова перед камерой с простодушным достоинством, так непринужденно и так домашнему, что казалось, будто он, в семейном кругу, просматривал новости в газете и вслух их комментировал. У меня появилось странное ощущение, что мы поменялись ролями: что это он, почему-то, интервьюировал меня, а не я его. Я мельком взглянул на часы и сказал:

— И пока он объяснял вам все это, вы все еще не узнали его?

Он кивнул:

— Нет, пока не приехали в Эммаус. Он сказал, что пойдет дальше, в Назарет, но мой кузен убедил его

зайти к нам в дом. «Чем богаты, тем и рады, — сказал кузен, — милости просим разделить это с нами». И он вошел с нами в дом. Там это и произошло.

— Что именно произошло там, господин Клеопа?

— Мы узнали его. За ужином. Мы сидели за столом, собираясь приступить к еде. Мой кузен пригласил его, как гостя, прочитать молитву. Это наш обычай, как вы, должно быть, знаете. Так вот, он взял хлеб, благословил и преломил его. И в этот момент мы взглянули на него и узнали, поняли, кто это.

— Иисус Давидсон?

— Да. Иисус Мессия. Он был мертв и ожил. Он есть от века Благословенный!

Его убежденность сомнений не вызывала: глаза у него возбужденно горели, да и всем своим обликом он излучал торжествующее счастье.

— Вы совершенно уверены в этом?

— Абсолютно.

— Игра света, может быть? Какая-то знакомая интонация в голосе? Может быть, сказалось утомление после напряженного дня? — Я засыпал его стремительной чередой догадок. Но это производило такой же эффект, как если бы человек пытался запрудить реку, бросая в нее спички. Он жестом отмахнулся от всех моих предположений:

— Вы можете называть это, как вам заблагорассудится, — сказал он, — это меня не волнует. Я знаю, кто это был. Мы сидели рядом с ним — так же, как сидим сейчас с вами, и наблюдали, как он преломляет хлеб. И это был Иисус. Ни тени сомнения на этот счет. Это был Иисус!

Я кивнул:

— И что же произошло потом?

— Он пропал, — несколько недоуменно, но без

мистического трепета произнес он. — Исчез. Только что был здесь, предлагал нам хлеб. А в следующее мгновение его не стало, — он возбужденно рассмеялся. — Вот тут можно говорить о нашем паническом состоянии. Мы бросились из дому, наняли машину в местном гараже и, сломя голову, понеслись назад, сюда, в город. Ужин оставили на столе, мою сестру в тревоге и буквально улетели. — Лицо его сияло в свете прожекторов. — О, что это была за поездка! Мы едва успели проскочить в ворота до комендантского часа, подъехали к дому, расплатились с шофером, и оба, одновременно, взбежали вверх, чтобы сообщить всем остальным.

— И как они отреагировали?

— Да это был гром среди ясного неба! Они были все там, в доме, и ужинали. Мы ворвались, как ураган, и выпалили, что видели его. — Он раскинул руки и округлил глаза, изображая их изумление. — Надо было видеть их лица! Непостижимо!

— И что, они поверили вам?

— Ну, более или менее. Кто-то — да, поверил. Кто-то не был уверен. Впрочем, это уже не имеет значения. Потому что, пока мы все еще находились в центре внимания, повторяя снова и снова увиденное, вошел он.

— Вы хотите сказать — сам Давидсон?

— Да. Дверь была заперта, но он вошел. Прямо сквозь стену!

— Как призрак?

— Призрак? О, нет! Хотя это то, что они сначала подумали. Никогда еще я не видел столько перепуганных лиц. Некоторые женщины даже завизжали от страха.

— Ну это объяснимо.

— Да, конечно. Он тоже понял это. Протянул к нам руки и сказал, чтобы мы прикоснулись к нему: «Дух не имеет плоти, костей и крови, — сказал он. — Прикоснитесь ко мне. И поверьте, что это действительно я».

— Их убедило это?

— Естественно. Но даже после этого мы не переставали удивляться. Я хочу сказать, что все оказалось слишком прекрасным, чтобы быть правдой. Но он понимал наше затруднение и, увидев на столе остатки ужина, сказал: «Дайте мне немного рыбы!» Кто-то подал ему тарелку и вилку, и он стоял у стола и ел рыбу — медленно, словно наслаждаясь вкусом еды.

— Ясно, — мне понадобились усилия, чтобы произнести это спокойно. Напряжение во мне раскручивалось по спирали, по мере того как я проникался возбуждением Клеопы. Я сказал себе, что даже Патрос не смог бы отмахнуться от этого чувства.

— И не говорите мне о духах, — сказал он с неподражаемым презрением. — Духи не будут стоять возле вас и угощаться ужином.

— Это верно. С другой стороны, люди не появляются и не исчезают сквозь стены, не так ли?

Но он был готов к этому каверзному вопросу, как был готов все это время отвечать с такой простой и, одновременно, разрушительной логикой.

— Обычные люди — нет. Не такие, как мы с вами. Но он же — Бог, господин Теннел! Он не связан ни временем, ни местом, как мы. Он — это свобода. Дорога, ведущая нас туда, по другую сторону смерти, — Царь в триумфе своей славы. Разве вы можете считать его обычным человеком?

— Нет.

— Я хочу сказать, что это не противоречит доводам разума. Он не был бы Богом, если бы походил на нас во всем. Как вы думаете?

— Думаю, что нет.

— Я слышал, как он говорил, и наблюдал, как он ел. И я знаю, что это он, господин Теннел. И еще я знаю теперь, что где бы с этих пор люди ни садились за стол, он будет там, среди них.

Я смотрел на него с огромным уважением. Он сделал намного больше, чем я мог надеяться. Он занял ключевую позицию в программе и уверенно удерживал ее. Все, что оставалось теперь сделать мне — это распрощаться с ним и поскорее закончить передачу, пока впечатление, произведенное им, свежо в памяти зрителя. Самым надежным способом было бы попросту поблагодарить его, поставив на этом точку. Но я так много поставил на него и он возвратил мне все с таким избытком, что я еще раз решил испытать судьбу.

Я сказал:

— Господин Клеопа, власти относятся к этому очень серьезно. Вы видели патрули на улицах. Вы знаете о комендантском часе. Вы не испытываете страха, ну хоть немного, оттого, что может случиться с вами после вашей сегодняшней откровенности здесь, в студии?

Он посмотрел в камеру, и лицо его было спокойно:

— Да, вероятно, в какой-то мере, боюсь. Я хочу сказать, что я никогда не был одним из тех, кто рвется в герои. Я привык держаться в тени. Но сейчас для меня это уже не имеет никакого значения. Знаете, худшее, что они могут придумать, это убить меня. Но смерть не столь уж важный фактор теперь. Он доказал это со всей очевидностью. Смерть — это не конец,

она — только начало. Вплоть до вчерашнего утра мы жили неполной жизнью. Люди, подобные нам с вами, они ведь — живущие наполовину! Вот, чем мы были. Но теперь... О, теперь все по-другому. Он воскрес! А если он воскрес, оживем и мы. По-настоящему оживем, впервые за всю историю человечества! И знаете, что я вам скажу, господин Теннел? — его голос звучал спокойно и убежденно. — Это сходно с новым рождением. Да, вот что это такое: родиться заново!

14

Я кивнул ему и повернулся к камере для режюме. Теперь я должен был спешить. Если верить часам в студии, мы перебрали почти семь минут сверх дополнительного времени.

«Вот такие-то дела, — сказал я. — Вот такая удивительная картина вчерашних событий в древней столице Иудеи — картина настолько полная, насколько мы смогли вам ее представить. Вернулся ли от смерти к жизни Иисус Давидсон? Был ли он обычным фанатиком — молодой человек, одержимый религиозной идеей и не разбирающийся в политике, — или он действительно Бог?»

Уголкем глаза я увидел, как дверь в студию распахнулась и вошла секретарша Каппера.

«Официальная точка зрения Резиденции генерал-губернатора и Дворца Первосвященника такова, что

это просто опасная молва, распространяемая группой разочарованных людей, которые выкрали тело из могилы в последней отчаянной попытке отстоять позиции своего лидера...»

Секретарша настойчиво нашептывала что-то режиссеру. В руке она держала лист бумаги и показывала в мою сторону. Деша от Патроса? Но Каппер, конечно же, не позволит нас свернуть: по крайней мере, даст мне возможность мирно завершить программу.

«...Но число простых людей, мужчин и женщин, которые ликуют сегодня, потому что они видели его, говорили с ним и убеждены, несмотря на угрозы и запреты, что он жив, постоянно растет...»

Я видел, как режиссер пожал плечами и взял бумагу из рук секретарши. Он быстро прошел к съемочной площадке и встал у края моего стола, точно за пределами поля охвата камеры.

«...Для этих людей, которым и в голову не придет преследовать какие-либо корыстные цели, слухи эти — вовсе не слухи. Для них это в самом точном смысле слова — Божья истина!»

Режиссер положил сложенный листок на стол и щелчком пустил его ко мне по гладкой поверхности. Я подхватил листок и быстро взглянул на набранные на нем через двойной интервал слова, которые в первое мгновение заплесали у меня перед глазами, сливаясь в одно неясное пятно, — затем вдруг четко обозначились в уме, когда смысл их дошел до меня.

Я посмотрел вверх, в камеру:

— Только что в студию поступила телеграмма.
Я зачитаю ее:

«Двое израильских солдат арестованы в кабаре в Старом Квартале полчаса назад. Они обвиняются в злоупотреблении алкоголем и в нарушении общественного порядка.

Они заявили, что являются гвардейцами, состоявшими в охране могилы Давидсона. У обоих обнаружены значительные суммы денег. Задержанные объяснили, что деньги получены ими от секретаря Первосвященника в качестве платы за распространение дезинформации, будто могила была ограблена в то время, пока они спали на дежурстве.

В действительности же, как они утверждают, никто из охранников не спал. Вчера, ранним утром, произошло сильное землетрясение, и могила разверзлась. Парализованные страхом, они увидели фигуру в ослепительно белых одеждах, сидевшую перед открытым входом в склеп. Задержанные заявили — это их подлинные слова, — что “его лицо ослепляло подобно молнии”.

Предстоит тщательное расследование, дабы установить, каким образом задержанным удалось покинуть казарму, где их содержали под бдительным надзором.

Один из солдат, когда полицейские выводили его из кабаре, сказал — и я снова цитирую: “Мне все равно, что теперь со мной будет. Я пропал, я видел ангела Божия лицом к лицу, а это для любого человека означает смерть”».

Я положил листок на стол возле вазы с цветами, успевшими немного поникнуть от долгого стояния под огнями прожекторов, и в последний раз встре-

тился взглядом с отливающим смолю стекляннным окном камеры:

«Еще один вклад в интригующее сплетение слухов об удивительном и волнующем событии. Для солдата то, что случилось вчерашним утром у могилы Иисуса Давидсона, означает смерть. Для госпожи Магдалины, господина Клеопы и их друзей это означает новую жизнь. И только время рассудит, кто прав».

Я медленно откинулся в кресле, сигнализируя Капперу и режиссеру об окончании передачи. Картинка на мониторе сместилась к вазе с цветами, заполнила весь экран и стала гаснуть, сменившись изображением Патроса в студии в Риме.

«Благодарю вас, Касс Теннел!»

Я внимательно рассматривал его, в то время как его голос скрипел в динамике, но по его виду нельзя было определить, что он обо всем этом думает. С бесстрастным, лишенным эмоций лицом, сидел он в центре экрана — само воплощение справедливости.

«На этом мы завершаем наш специальный репортаж из Иерусалима. Доброй ночи».

Экран погас. Операторы освобождались от наушников и слезали со своих тележек. Верхний ряд прожекторов выключили, и студия погрузилась в успокаивающий полумрак. Я встал, потянулся и потер глаза. Я чувствовал какую-то тупую ноющую боль между лопаток и страшную усталость.

— Ну как, господин Теннел, все благополучно?

Я совсем забыл о Симоне Клеопе. Я повернулся к нему и попытался улыбнуться:

— Это было просто замечательно, очень вам благодарен, очень! Лучше и быть не могло, даже если бы мы репетировали это весь день.

— А я перепугался до смерти, когда мы начали. Но как только вы спросили меня...

Он неловко замолчал, так как на столе зазвонил телефон. Я снял трубку.

— О, господин Теннел, — это была секретарша Каппера. — Господин Каппер спрашивает, не смогли бы вы зайти к нему немедленно. Господин Патрос на проводе, из Рима, и хочет переговорить с вами.

— Хорошо. Спасибо.

Я положил трубку и сказал Клеопе:

— Послушайте, мой хозяин в Риме хочет со мной потолковать. Не побудете здесь пару минут? Долго я не задержусь, а потом мы сможем пойти и выпить по чашке кофе или еще чего-нибудь.

Я прошел через студию к выходу. Один из операторов крикнул:

— Отличная работа, господин Теннел! — Я махнул ему рукой, вышел в коридор, потом наверх по небольшой лестнице в продюсерскую кабину. Каппер сидел на краю пульта с телефоном в руках. Лицо его было бледным и усталым.

— Да вот он уже, Дрю, — сказал он и передал мне телефон.

— Слушаю, Дрю?

— Теннел?

— Да.

— Ну ты меня огорошил. Я думал, ты все еще там, перед камерой, занимаешься пустой болтовней.

Я прикрыл глаза и ничего не ответил. Как-никак, он — босс. И если он предпочитает долго и нудно распекать за что-то — это его привилегия.

— Ты вообще соображаешь, хотя бы смутно, насколько ты преступил границы дозволенного в сегодняшней передаче? Или ты теперь живешь в своем личном крохотном варианте вечности, вне, так сказать, времени?

— Извини, — сказал я. — Боюсь, что мы действительно чуть затянули.

— Восемь минут пятьдесят секунд, чтобы быть точным!

— Ого, так много? Мне жаль, Дрю.

— Не извиняйся. Это была чертовски замечательная история.

Я заморгал от удивления:

— Хочешь сказать, что тебе понравилось?

— И еще как! Я, конечно, не верю ни единому слову. Но это было прекрасное шоу, Касс, и преподнес ты его просто великолепно. Одна из твоих лучших работ.

Каппер передал мне сигарету и щелкнул зажигалкой. Я сделал глубокую затяжку и сказал:

— Значит, ты не веришь, что он живой?

В ответ я услышал его смешок:

— Сделай милость, Касс. Я не верю также и в то, что поросята могут летать.

— Да, но это серьезно, Дрю. Я хочу спросить: что ты думаешь тогда о Мариам Магдалине и этом парне, Клеопе? Неужели ты не видишь, что они искренни в...

— Рыжеволосая? Хороша, ничего не скажешь. Не знаю, как тебе удалось отыскать их, Касс. А «господин Никто» в финале — просто гениальный актер. Первоклассная находка.

— Они верят в это, Дрю. Они верят, что он воскрес!

— Ну и удачи им. Однако не жди этого от меня.

Я почувствовал, с какой силой на меня навалилась усталость. Я еще сохранял какой-то крохотный запас энергии, буквально на один пистолетный выстрел, — для схватки с Патросом. Но он разоружил меня и сразил наповал своим циничным смешком и совершенно неожиданной похвалой. Если бы он напал на меня с обвинениями, у меня оставался бы шанс отыграться. Но при таком раскладе...

Я сказал:

— Какие-нибудь звонки поступали?

— Четыре. Три во время программы. И один сразу после того, как ты закончил.

— О чем они спрашивали?

— Первые три были: приходской священник и две женщины, выразившие недовольство происшествием в баре. Последним, — он снова противно хихикнул, — был мужик, интересовавшийся объемом форм твоей танцовщицы: ну, там, талия, бедра.

Меня затошнило. Все наши усилия — проанализированные вопросы, художественная, сжатая до предела, ничего лишнего, постановка Каппера, крупноплановые съемки Грега — были напрасными, потому что они хотели видеть, и увидели, только грязь.

— Ты все еще тут, Касс?

— Да.

— Когда возвращаетесь?

— Возвращаемся? Не знаю. Наверное, завтра.

— Похоже, ты выбит из колеи, приятель. Что, вымотался?

— Есть немного.

— Ладно. Возьми отпуск на пару дней. Если хочешь — на неделю. Слетай в Ливан и развейся в свое удовольствие.

— Да, — сказал я, — мне нужно это сделать.

— Вот и лады. Жду вас здесь через неделю, считая от сегодняшнего дня. Тебя и молодого Декка. Можешь передать ему, что мне понравилась сегодня его работа, если только ты уверен, что это не вскружит ему голову.

— Я так и сделаю.

— Хорошо. Ник Каппер еще там?

— Да, сейчас я передам ему трубку. Э-э, Дрю?

— Да?

— Как думаешь, будет ли какая-то реакция, в смысле после сегодняшнего вечера? Могут возникнуть какие-то беспорядки в связи...

— Да ни в коем случае, Касс. Да, мы охотно прислушиваемся к разным будоражающим слухам. Но это были и будут только слухи. Никто в здравом уме не станет воспринимать всерьез сказку о покойнике, разгуливающем по улицам Иерусалима.

— Но я так понял, что ты воспринял ее всерьез: вчера утром, когда ты мне звонил. Мне показалось, что ты сказал: «Это будет динамит».

— Ради Бога, Касс, ты или слишком перетрудился или еще что случилось. Это могло стать динамитом в политическом смысле. Но, как ты нам сегодня показал, в политическом плане это так же мертво, как динозавры. Просто религиозная буря в стакане воды. Могла стать унылой, как сам ад, с любым другим репортером — если бы ты не приложил руку.

— Да, — сказал я. — То-то я и вижу.

— Да пошел ты, Касс. Несколько дней в горах с хорошенькой ливанской подружкой — и будешь в полном порядке. Ладно, давай мне Каппера.

Я передал телефон Нику и тяжело опустился на стул. У меня дрожали руки, горели глаза, и я чувство-

вал себя так, словно не спал целую неделю. Хотелось плакать, но и для слез я был слишком усталым и истощенным.

Через минуту или две Каппер положил трубку, подошел и сел напротив.

— Мне очень жаль, Касс.

Я кивнул:

— Думаю, мы не можем упрекать его. Он не встречался с ними — ни с одним из них. Он видел их только «на картинке» — на экране телевизора. А это не то же самое, что говорить с ними лицом к лицу.

Через окно продюсерской кабинки я увидел Симона Клеопу, сидевшего за столом в опустевшей студии, у стола с букетом цветов из Галилеи. Он выглядел маленьким и одиноким, каким-то неправдоподобным теперь, когда большой свет был погашен.

Я сказал:

— Патрос сказал тебе о телефонных звонках?

Он кивнул.

Я сердито пнул ногой по корпусу стоящий на полу телевизор:

— Чертова коробка с фокусами. Ты потчуеть ее чудесами, а она превращает их в мерзость.

— Но он сказал также, что программа ему очень понравилась, Касс.

— Она не должна была ему понравиться, черт бы побрал его самодовольную куриную память! Подразумевалось, что он поверит в нее.

Каппер покачал головой:

— Никаких шансов, старина. Только не наш Дрю. Если бы ты самого Давидсона, с этикеткой, висящей на шее, и набором дактилоскопических отпечатков, подтверждающих, что это он, поставил перед камерой, то и тогда ты не убедил бы Патроса.

— Как и огромную зрительскую аудиторию, сидящую перед своими ящиками и набивающую брюхо рыбой и чипсами, хихикая при этом над пикантными подробностями.

— Немного преувеличено, однако мысль в основе своей верная.

— Но почему?! — спросил я. — Что с ними со всеми случилось?

Он передернул плечами:

— Они не хотят в это верить, Касс. Не больше, чем ты сам.

— Это неправда, — я услышал в своем голосе пронзительные нотки.

— Неужели? — переспросил он спокойно.

Там, внизу, в студии, Симон Клеопа с беспокойством посматривал на часы и бросал взгляды вверх, на окно кабинки.

— Бедняга, — с чувством сказал Каппер. — Все перемешалось, и для него тоже. — Он посмотрел на меня — под глазами темными кругами лежала усталость. — Знаешь, Касс, у них нет надежды. Даже если Давидсон и вернулся, они не выдержат испытания.

— Я думаю, выдержат.

Он покачал головой:

— Нет, Касс. Ты и сам знаешь, что не выдержат. Нельзя изменить мир — эту огромную, жадную, испуганно озирающуюся толпу — горсткой мудрых изречений, приправленных состраданием и парой-другой чудес.

— Даже если одним из чудес является возвращение к жизни умершего человека?

— Даже тогда. В особенности — тогда. Мы не готовы к этому, Касс. Может быть, когда-нибудь, когда

мы станем чуточку умнее или чуть больше станем бояться самих себя. Но пока — нет. Не сейчас.

Он встал и протянул мне руку:

— Давай, Касс. Это был очень долгий день. Пора по домам.

Я сказал беспомощно:

— А мир — мир, который он им обещал! Свобода и...

Он улыбнулся усталой, едва заметной улыбкой:

— Бесполезно, Касс. Нам нравится находиться в тюрьме. Мы не хотим, чтобы нас освободили.

Стюарт Джекман
Дело Давидсона

Редактор В. Новомирова
Корректор И. Никольская
Дизайн и верстка Р. Салий

«Свет на Востоке»,
Киев, ул. Хорольская, 30.